

Марк Вейцман



Я вернулся. Пели те же птицы.
Те же дети били те же окна.
Мать моя в переднике из ситца
над плитой склонялась одиноко.
Увидав меня, она застыла,
руки были выпачканы тестом.
Вопосы, по-прежнему густые,
падали на лоб и пахли детством.
— Боже мой, — сказала мама горько, —
Как ты вырос, мальчик! Это ты ли!
Сколько лет, скажи, прошло с тех пор, на
вы с отцом меня похоронили!
Как живешь ты, милый мой, на свете!
Не томи, рассказывай скорее!
Есть жена, наверное, и дети!
Говори, а я чайку согрею...
Я вернулся, будущему верен,
ведая, что прочно, а что хрупко,
и на носике скрипучей двери
прочертил поспешною зарубку.
И тогда почувствовал с тоскою,
что вот-вот придет пора проснуться,
все-таки успев своей щекою
к маминой падони прикоснуться...

Человеческой жизни суть

Я пишу о моем товарище,
о Георгии Гайдуне,
он работает экскаваторщиком
в Джезнагане на руднике.
Экскаватор — машина громная,
потому он немного глух,
но на этой работе вроде бы
ни к чему абсолютный слух.
Самосвалы, рудой набитые,
из карьера поплзут, пыля.
Пахнет пашней земля разрытая,
нерожающая земля,
и онопами и могилками
тех, кто жить бы еще могли,
и шляхами разлук унылыми,
и рассветной росой любви.
Степь, ветрами насневоз продутую,
прах кочевников пропитан.

А Гайдун выдает продукцию.
А завод выдает металл.
Мой товарищ наконец упарится,
так намереет — ни вздохнуть,
но до истины все ж доношается
и дознается, в чем ее суть.

Законы доброты

Меня учили многие —
и добрые и строгие;
я строгих не любил,
Меня учили многие,
а выучили строгие.
И вышло, что в итоге я
всех добрых позабыл.
И памятью представлены
пишь хмурые наставники
(глаза хоподноватые
и резкие черты),
светло и прямо жившие,
сурово мне внушившие
законы доброты.



Глухонемые разговаривают знаками,
как корабли — мельнающими флагами.
Они сигналият в море тишины.
Там все беззвучно —
счастье и отчаяние,
раскалено общением молчание,
и глотки певчих птиц
напряжены.



Мои стихи найдя в журнале,
она писала: в сорон третьем
два брата без вести пропали,
так вот один из них — не я ли
живу и здравствую на свете!
— Нет-нет, — я сразу ей ответил, —
Мы просто тезки, к сожаленью
(да, и сожаленью, а не к счастью).
Тяжеповесною сиренью
и неуемной птичьей страстью
была наполнена окрестность,
и я был в чем-то виноват.

А так хотелось бы воскреснуть!
Позвать: «Сестра!», успышать: «Брат!»

Ночные купальщики

Для пристальности ранней,
для юности седой
стирает поплочь грани
меж сухой и водой.
И очертанья тела
уже растворены
в неведомых пределах
всемирной тишины.
Таким тебя не знает
начальство и семья —
значительным, как знамя,
прозрачным, как струя,
когда на мокром камне,
мерцающий колосс,
стражишь созвездья капель
с седеющих волос.



АНАТОЛИЙ
АЛЕКСИН



ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ

ПОВЕСТЬ

Рисунки
В. ТЕРЕЩЕНКО.

Я часто слышала, что внуков любят еще сильнее, чем своих собственных детей. Я не верила... Но оказалось, что это так. Наверно, потому, что внуки приходят к нам в ту позднюю пору, когда мы больше всего боимся не смерти и не болезней, а одиночества.

Лиза явилась на свет в такую именно пору: мне было под шестьдесят. Володя, мой сын, и Клава, его жена, еще раньше оповестили, что идут на столь смелый шаг лишь потому, что рядом есть я. Иначе бы они не решились. А когда Лизу привезли домой, Володя и Клава сказали, что возлагают на меня всю ответственность за ее судьбу. Тем более что я тридцать пять лет проработала в школе.

— Ни один из нас не попадал во власть педагогов в таком раннем возрасте! — сказал мне Володя.

Клава присоединилась к мнению мужа.

Когда же Лизе исполнился год, Володя и Клава уехали на раскопки: где-то обнаружился очередной древний курган. Их профессией было не будущее, а далекое прошлое — оба они занимались археологией. И поэтому тоже казалось логичным, что Лизой должна заниматься я.

Я понимала, что и о я внучка обязана заговорить раньше всех своих сверстников, что она должна научиться читать раньше всех остальных детей и раньше других проявить понимание окружающего ее мира... Ибо сын намекал, что на пенсию могла уйти я сама, но не мой педагогический опыт.

Клава присоединилась к мнению мужа.

Они были убеждены, что весь этот опыт, огромный, тридцатипятилетний, должен был обрушиться на бедную Лизу — и принести поразительные результаты.

Но мой опыт столкнулся с ее характером.

Что характер у внучки есть, я поняла сразу: она почти никогда не плакала. Даже если ей было больно и мокро... Не подавала сигналов! И от этого возникало много дополнительных трудностей.

Когда внучке исполнилось два с половиной года, я объяснила ей, что Лиза — это не полное имя, а полное звучит торжественно и парадно: Елизавета.

С тех пор на имя Лиза она реагировать перестала. Не откликалась — и все. Я стала убеждать внучку, что называть ее, маленькую, длинным именем Елизавета неестественно, что люди будут смеяться. — И пусть, — сказала она.

Тогда я ей объяснила, что такое имя без отчества произносить просто нельзя, потому что без отчества им называли царьцу. С тех пор Лиза приобрела царственную осанку. А я стала сообщать родителям, заношившим откуда-то, где были усыпальницы и курганы: «Елизавета спит... Елизавета сидит на горшке...»

Внучка одержала первую в жизни победу.

В мой кабинет, над столом, висели фотографии классов, а в коридоре я преподávalа литературу и русский язык или была к тому же еще и классной руководительницей... На фотографиях первые ряды популежали, вторые сидели, а третьи и четвертые обычно стояли. У лежавших, у сидевших и у стоявших выражение лиц было не детское, напряженное. Может быть, из-за присутствия учителей, которые всегда располагались в центре второго ряда.

Елизавета любила водить пальцем по фотографии и спрашивать: «Это кто? А это кто?»

Поскольку главное свойство склероза — помнить все, что было очень давно, и забывать то, что было недавно, я сразу называла имена и фамилии своих бывших учеников.

Только на одной фотографии рядов было пять. Рыжий парень, который на черно-белом снимке выглядел просто светловолосым, в отличие от других улыбался. Он был третьим слева в том самом пятом ряду.

Я уже давно объяснила внучке, что это Ваня Белов, а рядом с ним стоит ее папа. Ваня поспорил в тот день, что сможет удержаться на стуле, который будет поставлен на другой ступ. Так образовался дополнительный ряд, которого не было больше ни на одном снимке.

Папа Елизаветы последовал за приятелем, хотя еле удерживался на этом сооружении. Ему было особенно трудно оттого, что он с рождения прихрамывал на правую ногу. И еще чуть не падал со ступа Сенья Голубкин, который всегда мечтал стоять выше других.

А Ваня Белов улыбался.

Это был мой злой гений. Я рассказывала о его проделках Елизавете, чтобы она никогда ничего подобного в жизни не совершала.

Однажды Ваня Белов на глазах у всей улицы прошел по карнизу третьего этажа и, появившись в окне нашего класса, сказал: «Разрешите войти!»

— Как такое могло случиться?! — в тот же день спросил у меня директор.

— Ваня Белов... — ответила я.

В другой раз он объявлял голодовку. Ему показалось, что я несправедливо поставила двойку одному из учеников. Ваня подошел на перемене ко мне и тихо сказал:

— Вы, Вера Матвеевна, не задавали нам то, о чем спрашивали.

— Но и того, что я задавала, он тоже не знал... как следует.

— Как следует? Может быть... Но ведь за это не ставят двойку.

— Она уже в классном журнале!

— Но ее можно исправить.

— Нельзя!

— Вы должны это сделать.

— Никогда.

— Простите меня, Вера Матвеевна, но я буду protestовать.

— Каким образом?

— Объявлю голодовку!

Я улыбнулась и махнула рукой.

Но а buffet он в тот день не ходил. Я проверяла: не ходил. На следующий день тоже...

— Голодаешь? — спросила я его с нарочитой назрежностью.

— Голодаю, — ответил он.

— И долго еще... собираешься?

— Пока вы не исправите двойку. — Потом он огляделся и тихо добавил: — Вы не бойтесь: другие об этом не знают. А то придется закрыть школьный buffet!

Вечером я пошла к родителям Вани.

Беловы жили рядом со школой, через дорогу. Самого Вани, к счастью, дома не оказалось. Его родители, милые, застенчивые люди, очень астраживались. В них не было ни Ваниной решительности, ни его озорства.

— Что-то случилось? — спросила мать, как бы придерживая сердце рукой. — Что он... там?

— Не беспокойтесь.

— Как же не беспокоиться? Для него жизням...

Самое уютное место в комнате было отведено столу, на котором лежали Ванин портфель (я его сразу узнала!), тетради и книжки. Над столом висело расписание школьных уроков. И та самая фотография, где он был третьим в пятом ряду.

— Не беспокойтесь, — сказала я. — Он учится хорошо. Выдадут на математическую олимпиаду.

— Слава богу! — сказала мать.

Тут я отважилась и спросила:

— Скажите, он... ест?

— Перестал, — со страхом ответила Ванина мама. — Только пьет воду... Даже хлеба в рот не берет. Я спросила: «Может, что с животом?» А он говорит: «Нет аппетита». Уже второй день нету...

«А ведь так он выжмет из меня все, что захочет!» — подумала я. И на следующий день в присутствии Вани исправила тому ученику двойку на тройку.

— Почему? — спросила Елизавета, когда я пересказала ей, уже шестилетней, тот давний случай. — Ты боялась, что Ваня умрет?

— Исправила тому ученику двойку на тройку, — повторила я.

Я только не сказала, что тем учеником был ее папа.

Д а, Володя учился у меня в классе. Так получилось... Уговаривая меня стать классной руководительницей именно в 6 «В», директор сказал:

— Не отказывайтесь! Это предрассудки. Кто усомнится в вашей объективности?

Я согласилась. И потом три года подряд доказывала ту самую объективность, которую, по словам директора, никто не мог взять под сомнение. Как-то незаметно это превратилось в одну из моих главных педагогических задач. Я очень старалась... Все должны были видеть, что я строга, бескомпромиссная и требовательна к своему сыну. Как Володя выдержал это, я теперь понять не могу.

Ни в одной педагогической книге не сказано, что должен делать учитель, если прямо под носом, на первой парте возле окна, сидит его сын.

Володя сидел на первой парте потому, что любил сидеть на последней.

На примере именно его сочинений я объясняла всему классу, какие грамматические и смысловые ошибки являются наиболее характерными. У доски я держала его очень долго и называла Кудрявцевым, хотя других ребят звала просто по имени.

Получалось, что я все же выделяла его. В отрывательном смысле...

Володя вынужден был отвечать по литературе только блестяще. Но однажды, почувствовав, что он плетется, я задала сыну коварный вопрос: том, чего в школе не проходили. Володя умолк. А я громко сообщила ему: или, вернее сказать, всему классу: — Двойка, Кудрявцев!..

Тогда-то Ваня Белоз и объявил голодовку.

— Всегда помни, что ты мой сын! — внушала я Володе. — Пойми меня правильно.

Он помнил, понимал — и не обижался. Но Ваня Белоз понимать не хотел! Он зторгался на мой план взаимоотношений с сыном-учеником. И все разрушил.

Я объясняла Володе, что он должен интересоваться не только историей и древними глиняными черепками. Я внушала, что он не имеет права пользоваться подсказками или шпаргалками на контрольных по математике.

А Ваня Белоз доказывал сыну, что математика ему никогда в жизни не пригодится, — и продолжал делиться с ним на контрольных своими математическими способностями.

Я убеждала Володю в том, что точные науки — это необходимо каждому гимнастка ума. А Ваня потом разъяснял, что гимнасткой нормальные люди занимаются не более двадцати минут в день. А тут — уроки, экзамены. Какая же это гимнастика?

Я знала, что за моими взаимоотношениями с сыном следит, кроме Вани, еще один человек. Это был Сеня Голубкин...

Есть люди, которые, увидев на вас новое платье, не поздравят с обновкой, а скажут: «Все наряжаешься... Все наряжаешься!» Узнав, что вы вернулись из отпуска, они покажут головой: «Все отдыхаете... Все отдыхаете!» А заметив, что вы хорошо выглядите, вздохнут: «Все расцветаете!» Наблюдая за Сеней Голубкиным, я вспоминала таких людей. Он болезненно переживал чужие успехи. Ему всюду чудились выгоды и привилегии котировки обладают другие. Если кто-то заболел, Сеня говорил: «Ясно! Решил отдохнуть». Если кто-то получал пачку за домашнее сочинение, он спрашивал: «Что? Мамошка с печочкой потрудились?»

Четко сформулировать какую-нибудь мысль было для Сенки ужасной мукой. И за эти свои мучения он ненавидел литературу, а заводно и меня.

Голубкина ребята прозвали Воронком: он словно кружил над классом, но всем приглядываясь и всех в чем-то подозревая.

Меня он подозревал в любви к сыну.

Когда Володя, прихрамывая на правую ногу, направлялся к доске, Голубкин провожал его недоверчивым взглядом: а уж не притворяется ли он? Не выхлопывает ли себе какие-то привилегии?

Трудно было отыскать людей, более не похожих друг на друга, чем Ваня и Сеня. Но оба они осуждали мое и без того нелегкое положение.

Когда я наставляла свой класс на путь добродетели, я видела в Сенкиных глазах страстное желание, чтобы Володя с этого пути соскользнул. Тогда бы Сеня мог присутствовать фразы, которую уже давно носил за пазухой: «Сначала бы сына своего воспитали!»

Я и сама больше всего боялась, чтоб какой-нибудь Володин поступок не вступил в противоречие с моими проповедями и наставлениями.

Но это все же произошло...

На 8 «в» нагналась контрольная по математике. Решить сложную геометрическую задачу было для моего Володи почти то же самое, что для Сени Голубкина понять разницу между повестью и романом.

Собираясь в то утро в школу, Володя мечтал, чтоб с математикой что-нибудь приключилось. Я, конечно, сказала ему, что мечтать об этом беспочвенно.

— Ну, пусть застрелит где-нибудь минут на пять-надцать. Мало ли в городе происшествий! А потом уж поздно будет писать...

— Но ты ведь учил!

— Мне это не помогает!

Математика была одной из немногих учительниц нашей школы, которые придавали значение своей внешности. Дождавшись, пока все остальные покинут учительскую, она торопливо прихорашивалась у зеркала, устранив последние, придирчивый взгляд своему лицу и прическе. Лишь убедившись, что все в порядке, она спешила на свидание к старшечкам-накам.

В тот день она тоже терпеливо дождалась, пока со стола в учительской исчез последний классный журнал. Подошла к зеркалу...

И тут ее заперли. Повернули ключ со стороны коридора — и мечта Володи осуществилась: математика застряла.

Лишь минут через двадцать нянечка, которая пришла убирать коридор, услышала легкий стук: математика не любила поднимать шум.

Контрольная была сорвана.

Я поняла, что пробил час Сечки Голубкина!

Математика не захотела присутствовать при разборе этого «дела». Она была хорошей — и не нуждалась в защите. Кроме того, она могла бы позволить себе попасть в страшную ситуацию, но не в смешную. А тут ей грозил смех.

— Я попрошу Кудрявцева объяснить, как он на это решился! — сказала я, глядя на Сени Голубкина.

В его глазах не было торжества — в них было смещение: если я сам а обвиняю сына, то в чем же ему тогда обвинять меня?

Но тут с задней парты раздался голос Вани Белоза:

— А при чем здесь Володя Кудрявцев? Это я же запер.

— Ты... боялся контрольной по математике? — изумленно спросила я.

— Чувство коллективизма! — ответил Ваня Белоз. И сел.

В глазах Сени Голубкина возникли разочарование и тоска.

— Ты, Ваня, должен будешь извиниться... перед Ириной Григорьевной! — растерянно произнесла я.

— А я, когда заперал, крикнул ей: «Извините, пожалуйста!»

— Она не услышала. И потом... Мне сейчас не до шуток!

— Мне тоже, — сказал Ваня Белоз.

— Извинись... Поскорее! С глазу на глаз... Математика не любила быть действующим лицом в подобных спектаклях. — Стыдно должно быть и тем, ради кого Белоз это сделал! — сказала я, опять глядя на Сени Голубкина.

В тот же день директор школы спросил меня:

— Что, опять Ваня Белоз?

— Опять. Но с другой стороны...

— Пора принимать меры!



— Пора,— ответила я.

И, дождавшись конца учебного года, перебралась вместе с Володей в другую школу. Она была дальше от нашего дома... Но зато дальше и от Вани Белоза!

А уже потом, через год, мы вообще уехали на другой конец города. Так получилось.

3

Мне раньше казалось, что «прекрасная половина человечества, к которой некогда принадлежала и я, не очень богата чувством юмора. Но моя внучка Елизавета постоянно опровергала эту точку зрения.

Она то и дело просила меня вспоминать о давних проделках Вани Белоза, которые и спустя много лет поражали мое педагогическое воображение. Елизавета же, слыша о них, падала на диван: хохот вал из ее ног.

У кого-то из взрослых она подхватила панибратское восхождение «Слушай-ка!» — и с него начинала почти каждую фразу.

— Слушай-ка! — говорила она, заранее валясь на диван. — Так прямо и появился в окне! Так прямо и сказал: «Разрешите войти!»

— Так прямо... Но он не подумал о том, что было бы, если бы он упал вниз с третьего этажа! Он вообще редко задумывался.

— Как же не задумывался? Если придумал появиться в окне!

В свои шесть лет Елизавета мыслила очень логично.

— Он не помнил о тех, кто за него отвечал,— пояснила я.— Он помнил лишь о себе. И о своих выдумках.

Только об одном, самом главном, как мне казалось, проступке Вани я не рассказывала Елизавете. Как не рассказывала о нем никому...

Малыши требуют, чтобы им по многу раз перечитывали любимые книжки, пересказывали любимые сказки. Елизавета же могла без конца слушать о проделках Вани Белоза.

Как-то однажды, когда у нас за столом собрались гости и Володя поднялся для первого тоста, дверь старинного шкафа медленно распахнулась, из его глубины, окруженная платями и запахом нафталина, появилась Елизавета. Она оглядела притихших гостей и сказала:

— Разрешите войти?

Я добилась своего: она влюбилась в Ванию Белоза! Хотя можно было предположить, что она познакомилась с Ваней еще до своего рождения. В самом деле... Елизавета появилась на свет на полмесяца раньше, чем ее ожидали. Появилась в день рождения своего папы,— и все Володины приятели, словно сговорившись, однообразно шутили: «Вот если бы все жены преподнесли своим мужьям такие подарки!», «Два дня рождения в один день — это прекрасно! С точки зрения экономии...»

Головка у новорожденной была покрыта темными волосами, что очень ободовало меня.

— Наша фамильная масть! — воскликнула я.— Девочка будет с черной косой.

В ответ она, подождав полгодика, посветлела.

У ее организма было странное и очень опасное свойство: он отвергал лекарства.

— Аллергия,— сообщил нам доктор, когда Елизавета покрывалась сыпью из-за одной таблетки аспирина.— Могло быть и хуже. Отек, например. Могли распухнуть глаза, лицо.

Все люди от лекарств излечивались, а Елизавета заболела!

У нее было так много ярких индивидуальных качеств, что мы с Володей и Клавой решили притупить их с помощью коллектива. И хотя ее родители по-прежнему уповали на мой педагогический опыт, Елизавету отправили в детский сад.

В первое время воспитатели и подружки не признавали ее по л о г о имени. Но заведующая детским садом, которую, напротив, как девочку, звали Аленой, сказала, что такое длинное имя ко многому обязывает, вызывает чувство ответственности. И Елизавета осталась на троне.

Однажды, вернувшись из детского сада, она отказалась ужинать. Я спросила ее:

— Ты сыта?

— Я не обедала,— сказала она.

— А как твой живот? — с тревогой спросила я.

Ей нельзя было болеть: она не выносила лекарств.

— Я здорова... Но я голодна!

— Ты!?

— И еще одна девочка.

— Объявили голодовку?

— Садная утрю!

Я поняла: Ваня Белоз через нашу семью добрался до их детского сада.

— Но по какой же причине вы... решили не есть?

— От нас уходит Алена.

Я всегда любила красивых женщин. Они нравились мне, как нравятся талантливые произведения искусства. Но заведующая детсадом не была произведением, созданным раз и навсегда. Ни на миг не теряя своей удивительной мягкости и женственности, она менялась в зависимости от ситуаций. Не детей она никогда не сердилась: любить их было ее призванием. А родителей — нередко отчитывала... Но делала это так нежно и обаятельно, что ей подчинялись. Особенно же отцы. Они вообще стали проявлять большой интерес к проблемам дошкольного воспитания. А дома боролись за право отводить своих детей по утрам в детский сад и вечером приводить их обратно. Над Аленой стали сгущаться тучи...

Кто-то из мамаш вспомнил, что в детский сад она пошла «случайно». Ее пригласили на должность заведующей после елочного праздника в Доме культуры. В тот день заболел Дед Мороз... Студентка-заочница Алена, исполнявшая роль массовички, так восторженно рассказала ребятам о бедном Дede, которого сразил радикулит, что многие плакали.

Потом Алена мне говорила:

— Они должны уметь плакать... Но только тогда, когда расшибают коленку. Но и когда коленка бьет у кого-то другого.

По предложению Алены ребята сочинили Деду Морозу письмо. А потом она их всех развлекала.

На Алену обратила внимание председатель местного научно-исследовательского института, в котором работали Володя и Клава. Это была сутулая женщина в старомодном пиксе, знавшая наизусть все новые песни и игравшая по первому разряду в шахматы. Она-то и пригласила Алену в детсад.

А потом оказалось, что председатель местного умеет сражаться не только за шахматной доской, но и на собрании в детском саду.

Мамаша отчаянно наступила.

— Она массовичка! — сообщила одна.

— А жизнь детей — не елочный праздник. Их надо воспитывать! — подхватила другая.

Отцы хотели бы защитить Алену. Но не решились... Боились испортить все дело.

Только две женщины, которым было за шестьдесят, бросились в бой: председатель местного и я.

— Спросите у своих дочерей! — воскликнула я.

Хотят ли они расстаться с Аленой?

— Что они понимают?!
— Ну, не скажите! — поправив панталоны, заявила председатель месткома. — Я помню себя ребенком... Я тогда разбиралась в людях непосредственной, чем сейчас. Обмануть меня было трудно!

Затем снова поднималась я:
— Поверьте моему опыту: я тридцать пять лет проработала в школе.

— Вот вас бы и назначить!
— Нет, школьный учитель и воспитатель детского сада — это разные дарования.

— Дарования?
— Как в литературе... Поэт и прозаик! Оба писатели, но жанры-то разные.

— Она все умеет! — поддержала председатель месткома. — Танцует, читает стихи, поет... А как они у нее едят!

Тут снова поднималась я.
— А теперь моя внучка второй день не ест. Аппетит потеряла.

— Если б только она!... — съехидничал женский голос.

— Да, дети любят красивых учителей, воспитателей! — вскопчила со своего места председатель месткома. — Это развивается в них чувство прекрасного.

— Если бы только дети!... — повторил тот же голос.
Я опять поднималась и с отчаянием Вани Белова сказала:

— Да не бойтесь же вы ее!
— Вам хорошо рассуждать, — сказала мне одна мамаша по дороге домой. — Ваш сын со своей женой где-то далеко раскалывает курганы...
Алена осталась в детском саду.

Через два дня она неожиданно позвонила мне днем и сказала:

— Не волнуйтесь, Вера Матвеевна... Но немедленно прижайте!

— Что случилось?
— Нашего врача вызвали на конференцию. А у Елизаветы поднималась температура. Я дала ей лекарство... Я должна была знать! Должна была... Зря вы меня защищали, Вера Матвеевна! Я вызвала неотложку. Не волнуйтесь. Простите меня! Не волнуйтесь...

4

В жизни каждого человека бывают дни и часы, когда все вчерашние беды начинают казаться ничтожными.

Внучку сразу отправили в больницу. Я поехала с ней. Машина торопилась, мчалась на красный свет. Больница была неподалеку от школы, где когда-то учился Володя, а я преподавала литературу и русский язык. Мы давно, еще до войны, уехали из того района на другой конец города. Но жизнь в тяжелый момент как бы вернула меня туда.

«Почему? — думала я. — Какое странное совпадение... Мало разве больниц в городе! Совпадения... Они в жизни на каждом шагу. Но мы-то забываем лишь те, которые врезаются в память радостью или несчастьем».

На уроках литературы ребята часто удивлялись тому, что раненые Андрей Болконский и Анатолий Курагин оказались на соседних операционных столах. Я объясняла, что жизнь нередко дарит нам совпадения и сюрпризы, каких и самая буйная фантазия не сможет вообразить. В доказательство я даже приводила примеры из своей собственной жизни.

«И вот опять совпадение! — думала я. — И опять операционный стол...»

Женщины и мужчины в белых халатах все уже подавшие, волновались и торопились. Я видела, что они боятся не успеть, опоздать. «Сразу на стол! — слышала я. — Отек горла... Сразу на стол!»

По дороге в больницу Елизавета не плакала, но кричала. Она дышала с трудом.

Сколько раз я мечтала, чтобы все ее болезни достались мне! Но каждому достается свое...

Алена хотела, чтобы дети умели плакать... Не от своего боли, а от чужой! Конечно... В человеке должно быть сострадание, а страдание ему ни к чему. Особенно в самом начале жизни, когда и радость-то еще было немного.

«Не испытывай сам — не поймешь», — как-то услышала я. Но была не согласна. Чтобы сосуществовать чужим бедам, не обязательно иметь опыт собственных горестей. «Пусть у моей внучки его никогда не будет!» — думала я.

А уверею не смогла.

Меня пропустили на третий этаж, где была операционная. Туда увезли мою внучку... Никому до меня не было дела.

На круглых часах, над дверью операционной, было семь минут третьего.

За столиком в коридоре сидела дежурная сестра. Совсем молодая. С модной прической, в сергах. Как будто с моей внучкой ничего не случилось!

Она первой заметила меня и спросила:

— Вы к кому?
— Я с внучкой...
Она взглянула на меня с жалостью. И сказала:
— Вам повезло... Сегодня дежурит Белов.

— Белоз?
— Он вообще-то заведует отделением. А сегодня дежурит. У нас все хирурги хорошие, но Иван Сергеевич...

— Вани Белоз?
— Вы его знаете?

В этот момент из операционной показался молодой человек в белом халате. Марлевая повязка была спущена на черную рубашку. Он крикнул:

— Маша! Скорее... Скорее!

Она вскопчила и побежала. Длинные серьги прыгали по щекам.

«Его отца звали Сергеем! Конечно... Сергеем! Я помню».

Маша выбежала из операционной. И, подскокив к телефону, стала набирать какие-то три цифры.

— Что? Что там!... — спросила я.
— Пусть Анна Ивановна придет в операционную! — крикнула в трубку Маша. — Только сейчас же!

— А Белов уже там? Белоз... там? — спрашивал я.
— Он там... Я вам налью валерьянки.

— Сколько ему лет?
— Я думаю, тридцать пять.

Она протянула мензурку.
— И живет недалеко? Да?

— Совсем близко. Выпьемте...
— Ну да... Через дорогу от моей бывшей школы.

— Ходит домой обедать. Значит, вы его знаете?

— Знаю...

В опасные и даже безнадежные минуты человек ищет надежду. Судьба внучки соединилась вдруг в моем сознании с образом Вани Белова. В этот союз я хотела увидеть спасение... И увидела.

«Какое счастье, что именно он...» — думала я, не понимая еще, почему я так думаю.

В конце коридора показалась женщина. Полная, немолодая... Она бежала.

— Это Анна Ивановна, — с облегчением прошептала Маша. — Он просил ее... Слава богу! — Она вы-

нула зеркальце.— На кого я похожа! — И пошудрилась.

На круглых часах было семь минут третьего.

Ваня... Ваня Белов... Почему мне тогда нужен был именно он? Которого раньше я опасалась, с которым насильно разлучила Володю... Я совершила тот давний побег в другую школу, чтобы спастись от Ваниной отчужденности и отгадки. От тех его качеств, на которые теперь была вся надежда.

С высоты своего несчастья я стала вдруг видеть Ванины поступки в истинном свете. Я помнила их все... И тот главный его проступок, о котором не могла рассказать внучке.

— Слушай-ка! Почему у меня две бабушки, а дедушка только один? — как-то спросила она.

— Второго и не было... никогда... — растерявшись, ответила я.

Она задумчиво побродила по дому и опять обратилась ко мне:

— Слушай-ка! А откуда тогда появился мой папа?

На самом деле дедушка у нее был. Как у меня был когда-то муж, а у Володи отец. Его звали Геннадием. Геней... По профессии он был зоотехником. Потом учился в педагогическом институте, где мы с ним и познакомились.

Его профессиональные заботы я нарекла «четвероногими увлечениями». Он жил ими с детства. Без конца о них думал и говорил... Я не требовала, чтобы из двух своих любовей он выбрал одну. Но всячески подчеркивала величие и красоту своего назначения в сравнении с приземленностью и будничностью его дел. С помощью литературы и искусства, которые призваны возвышать, я как бы постоянно унижала его. Хотя и не отгадала себе в этом отгадку.

Считать главой своего дома преподавателя зоологии казалось мне несложным. И главой стала я.

Мне хотелось, чтобы Геннадий занимался в жизни одним, а увлекался чем-то другим. Он подчинился... И тогда угадало то главное, что озабочало его. Мне стало скучно. Я поняла, что свет все-таки был, лишь тогда, когда он погас.

Я еще не знала в ту пору, что на благородных фанатиков, чем бы они ни занимались, держится мир. И что лишить таких людей фанатизма — все равно что плеснуть водой на костер.

Когда Володя исполнилось полтора года, мы с Геннадием разошлись. Он уехал за тридевять земель, на Дальний Восток. Я попросила его на прощание не напоминать о себе, чтобы не тревожить сына. Он и тут подчинился.

А через тринадцать лет я узнала, что начал работать в зероосхозе, он постепенно стал крупным ученым. «Четвероногие увлечения» твердо закрепились на обое ноги: он стал доктором наук, директором института.

«Какое для Геннадия счастье, что я ушла от него!» — этой мыслью я, наверно, хотела угодить своей совести, избавиться от угрызений.

Но лишить Володю татого отца я не могла! Узнав однажды, что Геннадий приехал в Москву на научную конференцию, я организовала его встречу с Володицей.

Ваня Белов не часто приходил к нам домой. Но тут, конечно же, получилось так, что Ваня зашел. И, как пишут, «принял участие в переговорах».

Я вернулась домой поздно, когда встреча закончилась. Геннадий и Ваня ушли.

Лицо у Володи было растерянное и виноватое. Примерно такое, какое бывает у верного, любящего супруга, который увидел другую прекрасную женщину и не смог не признать ее высоких достоинств.

Оказалось, что Геннадий бывает в Москве очень редко, что вся жизнь его связана с дальним краем, который он полюбил. Но они твердо договорились, что Володя в дни зимних каникул слетает к отцу. А потом и во время летних.

Я одобрила этот план. Но Володя к отцу не поехала... Его отговорил Ваня Белов. Хотя они и не так уж дружили, Ваня имел на моего сына магическое влияние. И в этом я видела большую опасность!

— Зачем же ты это сделала? — спросила я Ваню.— Ведь отец его ждет.

— Уж очень он умный! — угрюмо ответил Ваня.

— Так это ведь хорошо.

— Как сказать... Пусть сам приезжает. Если захочет...

Я считала, что Ваня совершил преступление. Я угрожала Володе. Он не отказывался. Но всякий раз, когда наступали каникулы, находилась причина, которая удерживала его возле меня.

«Уж очень он умный!» — сказал тогда Ваня.

Прошло больше двадцати лет... И я вдруг поняла, что он сделал это ради меня. Он не хотел, чтобы я делила сына с тем, кто мог покорить его сердце, а когда-нибудь потом... и увести от меня.

По крайней мере он хотел, чтобы встречи Володи с отцом происходили не вдали от меня и от нашего дома.

— Скажите... у него на лице востанушки? — спросила я сестру Машу.

— На днях только он сказал: «Посмотрите на мое лицо — и вам станет ясно: весна наступила!»

— Нельзя ли у вас еще попросить... валерьянки?

— Я нально. Но вы садьте, пожалуйста. А то ходите, ходите по коридору...

На круглых часах было семь минут третьего.

Из операционной выскочил тот же молодой человек. Марлевая повязка опять съехала на черную бороду.

— Маша! Всю бригаду... Всю бригаду! — крикнул он. И сразу же скрылся.

— Какую бригаду? — спросила я.

Маша стала набирать номер.

— Какую бригаду!

Она хлопнула трубкой по рычагу:

— Занято. Нашли, когда разговаривать!

— Какую бригаду!..

Она зашпешила вдоль коридора. На высоких каблучках ей было трудно. Она сбросила туфли и побежала прямо так... в чулки.

Потом с той стороны, куда она убежала, показались трое мужчин — все в халатах и белых шапочках. Они обогнали Машу и тоже скрылись за дверью операционной.

Маша остановилась, подобрала туфли. Подошла к своему столу. И только тогда их надела.

— Какая бригада? — спросила я.

— Просто так... Не волнуйтесь. Студенты-практиканты у нас. Операция редкая. Он хочет им показать. Все будет нормально. Раз так Иван Сергеевич...

Она вынула зеркальце.

— Я понимаю. Раз Ваня Белов...

Мне необходимо было все время вспоминать о нем что-то хорошее. В этом были надежда, спасение... И я вспоминала.

Однажды, когда Володя и Ваня учились еще в шестом классе, был назначен «районный» диктант. Решили очередной раз проверить, насколько грамотны в нашем районе двенадцатилетние. Диктант был изощренно трудным. И так как абсолютно гра-

мотных людей на свете не существует, даже я вряд ли написала бы его без единой ошибки.

Что же тогда говорить о Сене Голубкине! Он был в панике: двойка за тот диктант грозила ему второгодничеству.

В ту пору Ваня еще не проник в глухие тайны голубкинской психологии и очень ему сочувствовал. Когда Саня, путаясь и напрягаясь, блуждал по лабиринтам знаменитых четапростышей, известных всем с малолетства, Ваня страдал. А видела это... И если мне удавалось не замечать его подскоков, я их не замечала.

А после урока, в коридоре, верзла Голубкин таски невысокого Ваню: то, оказывается, подсказывал недостаточно четко и ясно: «Сам-то, небось, вы-учили! Сам-то все-е знаешь!» За этим я тоже тайком наблюдала.

После диктанта Сеняка бегал по коридору и выпрашивал у своих одноклассников:

— Как пишется «в течении»? Вместе или отдельно?

— Отдельно, — отвечали ему.

— Одна ошибочка есть! — говорил он. И загибал палец. — А ты сам-то как написал? Правильно?

Если оказывалось, что правильно, Сеняка скулил:

— Ну, конечно... Сам написал-а!

Чужие успехи его убивали. Ему казалось, что любые удачи приходят к людям как бы за его, Сенюкин, счет. Зависть, в которой я всегда видела исток многих человеческих слабостей и пороков, не оставляла Сенюку в покое.

— Та-ак... Еще одна ошибочка! — восклицал он. И загибал следующий палец с таким видом, будто все кругом были виноваты и в этой его ошибке.

Володя никогда не раскрывал мне секреты приятеля, но эти сцены он демонстрировал в лицах. И мне казалось, что я наблюдаю их своими глазами.

После «районного» диктанта у Сенюки не хватило пальцев на обеих руках. Он насчитал двенадцать ошибок. Кроме запятых и тире...

На перемене ко мне подошел Ваня Белоз и спросил:

— Что ж, Вера Матвеевна, Голубкину теперь на второй год оставаться?

— Не знаю. Еще не проверила...

У меня в тот день было, помнится, всего два урока. Когда я уселась в учительской за тетради, оказалось, что шесть работ из папки исчезли. Соединих были диктанты Сенюки Голубкина, Володи и Вани.

На большой перемене мы с директором в опустевшем классе стали пробиваться к голубкинской совести. Путь оказался непроходимым...

Именно тогда, в разгар нашей беседы, в окне появился Ваня Белоз и сказал:

— Разрешите войти?

Мы онемели. А Ваня оглянулся, будто смерил расстояние от третьего этажа до тротуара, и, повернувшись к нам, спокойно сказал:

— Я явился, чтобы отдать себя в руки праздоудия!

Нет, я не верила, что диктанты вытаскил он. Даже если б это и пришло ему в голову, он бы ни за что не прискочил к тетради моего сына. Потому что это был сын учительницы... А Сеняка именно по этой причине и вытаскил Володин диктант!

Но доказать это я не могла.

Директор тогда еще не начал счет продлкам Вани Белова. Он согласился с моей версией, сказал, что рыцарство тоже должно знать пределы... Но что не стоит превращать школьный класс в комнату следствия.

Для очистки совести я все же сказала Ване:

— Не верю, что ты способен на подобную дерзость!

— А пройди по карнизу третьего этажа — это не дерзость?

Мне стало ясно, зачем он появился в окне: мы должны были поверить, что он способен на все!

Тут же, после уроков, я передиктовала диктант тем шестерым, работы которых исчезли. Саня Голубкин получил тройку, поскольку уже успел обнаружить на перемене свои ошибки. И перешел в седьмой класс.

Он не прекратил благодарностью к Ване Белову. Напротив, именно с тех пор Сеняка его не любил. Он не простил благодарства, как не прощал грамотности тем, кто ему же помогал находить ошибки.

Ваня Белоз это понимал...

После того, как Сеняка очередной раз насолил в чем-то своему спасителю, я как бы мимолетом сказала Ване:

— Ну, что... ни одно доброе дело не остается безнаказанным!

Мне не хотелось, чтоб он считал меня уж слишком наивной и думал, что я поверила его признанию, произнесенному с подоконника.

Ваня смеялся. Но не оттого, что я его уличила. А из-за моей фразы о наказуемости добра.

— Мало ли что бывает! — сказал он. — Из-за этого всем не верить?

Теперь, когда мне нужно было верить в Ваню Белова, я вспомнила тот разговор.

Но почему же я раньше не придавала ему никакого значения?..

Чтобы направить энергию Вани Белова с нужное русло, я, помнится, в седьмом классе назначила его редактором стенгазеты.

Для начала Ваня зашел на ее столбах анкету: «Что о нас думают наши учителя?»

Я написала, что люблю их всех (всех сорока трех!), что поэтому бываю недовольна ими, строга и что желаю им всем счастья.

Следующая анкета называлась иначе: «Что мы думаем о наших учителях?»

В этом номере Ваня спорил со мной: «Нельзя, я думаю, любить всех на свете людей. А мы — те же люди. Я бы, например, не смог полюбить Сенюку Голубкина!»

Так прямо и написал. Не любя Сенюку. А я то и дело оглядывалась на Голубкина...

— Сколько лет вашей внучке? — спросила меня сестра Мама.

— Шесть с половиной.

— Осенью должна была пойти в школу?

«Почему должна была? Она пойдет в школу...» говорила я себе. — Ваня Белоз спасет ее! Теперь, когда я до конца поняла его... Когда до конца поверила... Он не может ее не спасти!

На круглых часах было семь минут третьего.

«Он помнил лишь о себе. И о своих выдумках...» — сказала я как-то внучке.

Это была неправда. Он думал о других гораздо больше, чем другие о нем.

Но для Вани это было не важно: совершая свои «спасательные экспедиции», он никому ни за что не платил и ничего не желал взамен.

Сейчас он думал о моей внучке. И спасал ее. «Безумству храбрых поем мы песню!» — как бы в шутку цитировал он. Но никогда не совершал безумств ради себя. Почему лишь в больнице я поняла это?

Неужели непременно должна случиться трагедия, чтобы мы поняли, кто может нас от нее спасти?

На виду у большой беды мне хотелось исповедаться перед собой и найти искупление.

Я помнила слова мудрейшего Монтеня, сказавшего о своих глазах: «Нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально». Мои глаза тоже были в тот день очень пристальны... и недовольны мною.

Когда выяснилось, что Геннадий, мой бывший муж, стал доктором наук, крупным ученым, я решила, что он прежде скрывал от меня свои способности. На самом же деле это я скрывала его способности и его характер от него самого. Я хотела, чтобы компасом для него были лишь мои взгляды, мои убеждения.

Но жизненный компас, верный для одного, может сбив с дороги другого... Мне хотелось, чтобы мой муж смотрел на мир моими глазами и жил моими призваниями. С теми, кто любит, так поступать опасно: они могут подчиниться — и навсегда потерять себя.

Иногда я так поступала и с сыном: выбирала ему друзей, различила с Ваней Беловым... Он любил меня — и тоже мне подчинялся. А потом, должно быть, намаявшись со мной, женился на Клавде, которая всегда к нему «присоединялась».

Чтобы поверить в себя, человек порой нуждается в преклонении... Когда сын еще школьником возился с грязными черепками и в каждой рухляди видел признаки «древней культуры», многие смеялись над ним. А Ваня Белов восхищался. Почему же я их все-таки различила?

У Вани была с мой характер. Не подчинявшийся... А я в те годы, не отдавая себе отчета, стремилась привести все сорок три характера своих учеников к общему знаменателю. И этим знаменателем была я сама.

О судьбах своих учеников мне хотелось знать все: кто родители, в каких условиях живут, как готовят уроки... Но оказалось, что познать характеры гораздо труднее, чем судьбы. И я освобождала себя от этого.

Я хотела, чтобы ученики послушно всему у меня учились. Ваня же сам мог если не научить, то, уж во всяком случае, проучить меня.

— Я загляну в операционную, — сказала мне сестра Маша.

Она снова вынула зеркальце, поправила прическу и пошла. Потом вернулась и сказала:

— Ничего... Иван Сергеевич улыбается. Все будет нормально!

И стала наливать валерьянку. Я протянула руку... Но она выпила валерьянку сама. «Как же она могла увидеть, что он улыбается!» — подумала я... Как она могла это увидеть? Ведь на лице у хирурга повязка. Как же она... Но там, рядом с моей внучкой, Ваня Белов! Значит, все и правда будет нормально... Я верю. Если Ваня Белов...»

Раньше он то и дело обрушивал на мою голову чрезвычайные происшествия. «Что будет, если все научит ему следовать?» — со страхом думала я. Но следовать ему никто бы не смог: для этого нужен был его, Ванин, характер.

Мой сын, археолог, всегда уверял, что влияние прошлого на настоящее и будущее колоссально.

«Из того, прошлого, Вани, который мог ради спасения Сени Голубкина пройти по карнизу треть-

го этажа, получился хирург, — думала я. — Хирурги ведь тоже должны помогать всем, кто нуждается в них, — независимо от достоинств и качеств: и Голубкиным и моей внучке».

Некоторые люди, знавшие меня в молодости, встретив потом, говорили:

— Обломала тебя жизнь... Обломала!

А на самом деле жизнь доказала мне, что нельзя подавлять человека. И что добро каждый должен творить по-своему... И что третий в пятом ряду не должен быть похож на пятого в третьем ряду... И что вообще я, учительница, должна видеть не «ряды», а людей, которые стоят рядом... или вдали друг от друга.

Приобретение этого опыта, увы, стоило жертв, которые я не должна была приносить. Учитель, как и хирург, на ошибки вряд ли имеет право. Хотя нравственное нездоровье, быть может, и не приводит к физической смерти.

«Где была строгость, непримиримость» — спрашивали меня иногда. Не-при-ми-ри-мость... Это, значит, то, что находится не при мире. Значит же употреблять такое оружие в общении с друзьями! Да и вообще есть качества, которые, как скальпель хирурга, не годятся для будничного, повседневного употребления.

«Меня потрясает гнев человека, который гневется раз в году», — сказал кто-то из тех, чьи изречения стоит запоминать.

О непримиримости, я думаю, можно сказать то же самое.

«Хорошо было бы до конца усвоить все эти истины не сейчас, в шестьдесят третьем году, когда и мне уже исполнилось шестьдесят три», — думала я, — а хотя бы тогда, в тридцать девятом, когда я совершила свой побег от Вани Белова... И когда мне тоже было соответственно тридцать девять».

Эти совпадения (опять совпадения!) всегда забавляли Володю.

— Мамочка, сколько тебе нынче лет? — спрашивал он. И как бы соображал на ходу: — Та-ак... На дворе у нас «год-отличник» пятьдесят пятый. Значит, и у тебя, мамочка, — две пятерки!

И в этом году он тоже шутило напомнил мне, что цифра «63» в календаре совпадает с моей шестидесятью третьей весной.

Я улыбалась этим привычным шуткам. Но не так весело, как четверть века назад...

Ваня остался самим собой — и поэтому я верила, что моя внучка пойдет осенью в школу. Я верила в это...

«Вот для чего нужно было это сегодняшнее совпадение», — думала я... Чтобы Ваня спас мою внучку. И чтоб я сказала ему, что все наконец сойдется. Не сейчас, конечно, сказала... а потом. Сейчас я его просто буду благодарить, бесконечно благодарить...»

— Иван Сергеевич! — воскликнула Маша.

И, на бегу поправляя прическу, бросилась навстречу огромному мужчине, который выходил из операционной. Он станул с лица белую марлевую повязку и вытирал ею лоб.

Я не могла идти...

Я схватилась за Машин столик. Ноги стали тяжелыми.

Он сам подошел ко мне:

— Очунулась ваша царьца. — «От чего?» — хотела спросить я. Но не спросила. — Ответство-то ее не Петровна?

Я ничего не могла ответить. И заплакала. Он осторожно погладил меня:



— На свадьбу-то пригласите?

— Спасибо вам, доктор.

Он снова поглядел меня откуда-то сверху. Пальцы у него были длинные, крепкие. Со лба на щеки и нос, покрытый веснушками, стекал пот.

Про все я успела спросить у Маши. Про все... А о росте забыла. Ваня-то был невысокий...

5

Иван Сергеевич попросил меня «не настаивать» на немедленной встрече с Елизаветой.

— Она примет вас завтра, — пообещал он. — Или послезавтра. Сейчас ей нельзя разговаривать.

На круглых часах, над дверью операционной, было семь минут третьего.

Я поняла наконец, что часы стоят.

Сестра Маша проводила меня до конца коридора. — Повею вам, что Белоз оказался здесь. Он редко дежурит. И операция редкая. Несложная, конечно... Но аллергический шок получился.

— Что? ...?

— Совсем было плохо. Теперь уж я вам созибю. Она все время склонялась ко мне, обнимала за плечи. Длинные серы еще позванивали.

— Я до утра присматриваю за ней. — Мы дошли до конца коридора. — Иван Сергеевич перед операцией, чтобы проверить, как она там... спросил: «И как же тебя зовут?» А она отвечает: «Елизаветой».

— Так ее и зовите, — попросила я. — А то еще не откликнется... Значит, это были не практиканты?

Она не ответила.

Я стала спускаться вниз.

«Много людей прошло через мою жизнь», думала я. — А эти двое останутся со мной навсегда: Иван Сергеевич, Маша... И Ваня Белоз. Он тоже был рядом. А отца-то его звали Андреем... Андреем, а не Сергеем. Как же я забыла! Такой милый, застенчивый человек. Все время предлагал снять пальто. А я говорила, что пришла на минутку. Мама Ванина, тоже милая и застенчивая, смотрела на мужа с укором и говорила: «Что же ты, Андрюша, не предложишь раздеться?» Тогда он снова просил меня снять пальто.

Тут я увидела Алену... Она сидела на длинной скамье возле больницы. Моросил нудный дождик. — Ну что? Вера Матвеевна...

Я не выдержала. Опять стала плакать. Она вытирала со щек мои слезы и капли дождя. Не платком, а теплыми, мягкими пальцами. Наверно, так она утешала своих малышей.

— Очнулась уже. Очнулась... — сквозь слезы сказала я. — Нам повезло. Дежурил Белоз! Сказал, что придет на свадьбу. А почему вы... на улице?

— То войду в вестибюль, то выйду. Не могла на одном месте... Я виновата, Вера Матвеевна.

— Не вздумайте повторить это в детском саду! — встрепенулась я. И перестала плакать. — Вы обязаны быть педагогом, но не провинцем. Я сама должна была предупредить.

— Вы и предупредили, — мягко, но упрямо возразила она.

— Врача... Но не вас.

— А я должна была узнать у врача. Про всех все узнать!

— Вот теперь и узнаете. Опыт требует жертв... Вы мне поверьте.

— Но не такие!

— Если б мы знали, где упадем... подстелили б соломку. Это старая истина. Вот вспомнил мне сегодня...

Нет, я не собиралась учить Алену на своем горстном опыте. Просто я хотела этим опытом утешить ее. И начала рассказывать про мужа, про Володю, про Ваню Белова.

Мужчины оглядывались на нас. Я стала гогорить тише. А они продолжали оглядываться.

Вернувшись домой, я написала письмо Володе и Клавье. Телеграмму посылать я не стала. Да и в письме обо всем рассказала очень спокойно, умоляла о смертельной опасности, которая грозила нам всем. Я давно сделала для себя приазлом: не заставлял других переживать то, что я могу пережить сама... Тем более когда речь шла о буре, которая уже пронеслась.

Стараясь поменьше писать о болезни Елизаветы, я сосредоточила свое внимание на Ване Белове.

«Я была не права, — писала я сыну. — Но как и ты мог забыть о нем? Ч-о из того, что мы уехали на другой конец города?»

В ответ на письмо прилетела Клавья.

Она подробно рассказала, как Володя пережил весте о болезни Елизаветы. И мои упреки по поводу Вани Белова... О своих переживаниях Клавья не говорила, поскольку мне было ясно, что она, как всегда разделяла Володины чувства. К этому я привыкла.

Услышав о какой-нибудь неприятности, Клавья сразу начинала искать глазами Володю. Даже если он был в другом городе... «Не пора ли мужичонку стаать!» — спрашивала я прежде у сына. Клавья беззащитность заставляла его стаать защитником, значит, мужичонкой.

«Мы с Володей...» — так чаще всего начинала она. Если же она говорила, к примеру: «Володя очень устал и мечтает о юге!» — я понимала, что и она тоже нуждается в отдыхе. Она не умела устаать, мечтала и вольновалась одна. Без участия мужа. С годами она даже стала ела заметно припадать на правую ногу. Потому что так ходил, о...»

Иногда мне даже казалось, что мой сын еще более дорог ей, чем мой внучка. И как ни странно, меня это радовало. Внучка, ее жизнь, ее будущее были теперь главной и наверняка последней целью моей жизни.

В тот час, когда эта главная цель была в смертельной опасности, ко мне пришел Ваня Белоз. И не только потому, что его имя и фамилия сознали с именем и фамилией хирурга. А и потому, что он был рожден приходить к людям в такие именно часы и минуты.

Клавья все-таки заставила меня поведать о некоторых подробностях болезни и операции.

Она обернулась, как бы ища Володю... Но его не было, и тогда она разрыдалась у меня на плече. — Что могло быть! Что могло быть! — шептала она.

Я попросила ее:

— Не надо переказывать Володе все, что уже миновало. А то и он прилетит!

Она пообещала и помчалась в больницу.

А я распечатала Володино письмо, которое она привезла.

Письмо было длинное. Он волновался об Елизавете... А дальше писал: «И я, мама, вспомнил о Ване. Все вспомнил! Даже то, чего ты не знаешь». Ваня просил меня никогда не раскрывать эту тайну. Но прошло больше двадцати лет... И сейчас, за давностью срока, можно сознаться. Математику-то запер я! Это получилось как-то само собой. Я заглянул тогда в щелчку... Вижу, она перед зеркалом прихорашивается, а больше никого нет. Просто не понимаю, честное слово, как моя рука повернула ключ. Очень я математики, наверно, боялся. Потом

Ваня стал убеждать меня: «Ты — сын классной руководительницы и заирать учителей не имеешь права!» Я поверил ему. А после, честное слово, терзался. Поэтому, может быть, и занотить ему перестал. Ну, а потом уж мы перебрались... Когда я вернусь, мы обязательно найдем его, мамочка!»

Значит, Ваня снова принял на себя чужую вину? Я была уверена: он поступил так вовсе не потому, что решил сделать самопожертвование как бы своей профессией. Сеньке грозило второгодичничество, а мне (именно мне!) позор на всю школу... и он, как хирург, должен был не раздумывая, а спасти. Он, которого я считала своим злым гением...

Но почему же в тот раз, когда речь шла о Голубкине, я не дала себя обмануть? Я знала, что Ваня заслонил Сеньку собой. А тут я поверила... Хотя всем было известно, что Ваня Влодо — математик и ему извечном было заирать Ириун Григорьевну. Сперва Володя позволил себя убедить... А потом и я тоже. Неужели человек стремится все на свете осознать с позиций своих интересов? Да нет... Ваня Белов так опровергает.

Я не стану ждать возвращения сына. Я сама найду Ваню. Сама!..

6

Переулок, где когда-то учились Володя и Ваня, трудно было узнать. Новые дома молодцевато поглядывали на незысокие старые здания. Мне казалось, что я пришла в семью, некогда мне очень близкую, с которой я не виделась десятилетия и в которой все изменилось: дети выросли, появились внуки, — и лишь самые старые члены семейства ипоминали мне о былом. Но они-то и были мне особенно дороги...

Таким старым членом семейства показался мне Ванин дом, что стоял прямо ипротив школы, через дорогу. Он сохранился, к счастью... Мимо него шли с уроков ребята. Мальчишки, как во все времена, проявляли доблесть и остроумие, а девочки делали вид, что этого не замечают.

Беловы жили на первом этаже. Я хорошо помнила. Вместе со мной в парадное вошла дедочка и направились к той самой квартире. Она была светловолосой, на ее носу и щеках тоже были рассыпаны приметы наступавшей весны.

«Неужели это Ванина дочка? — подумала я. — Ей лет тринадцать или четырнадцать. Вполне может быть!»

— Ты не Белова? — спросила я.

— Белова?

Она рассмеялась. В ее возрасте девочки очень смешливы... И что именно рассмешит их — трудно предугадать.

— Беловы отсюда уехали. Очень давно... Я их даже не помню.

— В другой город? — спросила я, потому что боялась этого.

— Не-ет... Просто в другое место. — Она открыла дверь своим ключом. — У мамы записан их адрес. Мама сейчас на работе, но я посмотрю. Кажется, он в записной книжке.

Девочка была деловитой и не чересчур многословной. Она не стала расспрашивать, кем я прихожу Беловым и почему их ищу. Она молча перелистала записную книжку, лежащую на столике у телефона. Сказала самой себе:

— Ну вот... Я же знала!

Потом переписала адрес. И протянула мне.

Я схватила листок... Она опять засмеялась. Назерно, от удивления.

— Спасибо тебе, — сказала я, успев разглядеть, что Беловы живут в районе Филей. — Спасибо!

Я не вышла, а выбежала на улицу, держа адрес в руке. Теперь, когда я знала, что Ваня в Москве, знала, где он живет, мне не терпелось скорей, как можно скорей увидеть его...

Можно было ехать на автобусе или в метро. Но я схватила такси. И стала по дороге рассказывать шоферу, что вот через столько лет нашла прекрасного человека. Таксисты целые дни вслушиваются в чужие истории — и оттого становятся либо равнодушными, либо совсем на свете привыкшими, либо восприимчивыми и чуткими. Этот сразу же стал вспоминать подобные случаи и каждым движением показывал, что очень хочет ускорить мою встречу с Ваней.

«Конечно, в такое время и Ваня может быть на работе, — думала я. — Но тогда старики дома. И я посижу с ними... Подожду. Если, конечно, они живы-здоровы».

Старики были живы.

Только встреча с людьми, которых мы не видели много лет, дает нам понять, что же такое время. Встречаясь повседневно, мы не замечаем, не чувствуем перемены, которые оно, время, накладывает на лица, на характеры, на походку.

Старики Беловы были уже действительно стариками. Годы сгорбили их, иссушили их лица.

Увидев это, я взглянула на себя в зеркало, сидевшее возле вешалки. Тем более, что они не сразу меня узнали.

Ванин отец, как и тогда, стал просить, чтобы я сняла плащ.

— Вот съехались с родственниками, — объяснила мне Ванина мама. — С братом Андрюшиным...

— Простите, что я не заходила к вам столько лет... А Ванин-то как? Где он?

Они провели меня в комнату.

В самом уютном месте стоял тот же стол, словно Ваня был по-прежнему школьником. А над ним висела та же самая фотография, где он был третьим в пятом ряду. Висела еще одна фотография Вани... Только расписания уроков на было; их сын все же вырос.

— Ну, как он? — снова спросила я.

Ванина мама подошла к столу, выдвинула ящик и протянула мне небольшой листок. Бумага была серая и шершавая.

Там было написано, что 27 апреля 1945 года их сын, Иван Андреевич Белов, пал смертью храбрых в боях за город Пенцлау.

Я никогда не слышала о таком городе...

Александр Москвитин



На окраинах Москвы
снег почти что первозданный:
между улиц,
между зданий
пустыри, лопяны, рвы.
И такие есть места,
где найдешь под небом синим
чудо-лес в убранстве зимнем
рядом с домом,
метрах в ста.
На окраинах Москвы
стиль почти что деревенский:
здесь природа
во главенстве
быта, времени, молвы.
На окраинах Москвы
взор людской ничто не застит:
дали настезь,
сердце настезь —
до кружения головы.
И с землей наедине
город побишь свой все так же,
дышишь глубже,
видишь дальше
на родимой стороне.



И встал над чадом быта человек
и вдруг себя устало кинул взоры,
чтоб всей душой —
отныне и навек —
соединить земли своей просторы.
Такая высь и даль открыли свет —
без края высь и без начала дали:
на тыщи верст,
на миллионы лет
пути, судьбу, свершенья загадали.
Хотелось вдаль идти, теряя счет
всему, что есть ликующего в мире...
И он пошел на солнце,
на восход,
то лес, то дол беря в ориентиры.

Он шел полями — не было границ,
он шел лесами — не было предела,

и вся земля
плыла на леньте лтнц,
и вся земля невестилась и лела.
Над ширью рек недвижно замирал
и плыл по ним, любясь на закаты,
и видел горы,
может быть, Урал
или Тянь-Шань, Хибинны и Карлаты.

И жизнь, что выше злата-серебра,
представилась душе совсем иначе,
и открывалось сердце
для добра,
для веры, для надежды, для удачи.

И долгий путь немного торжества
был неуемней самой горькой муки...
И не могли
не прозвучать слова,
и не могли не отзываться звуки.



Вновь в своем бытие городском
я к одной прибегаю олопе:
лес —

под ветром встающее море,—
окунаюсь в него рынком.
Вот и схлынули грохот и зной,
санцуют лтнцы, желаниям вторя:

лес —
под ветром звенящее море,
не контрастное с тишиной.
Блики солнца и листьев плыть,
облака оседают на взгорье:
лес —

под ветром открытое море,
не ведущее в забытье.
Дом лернатых, обитель зверей,
от беды заспнит он, от горя,
лес —

под ветром зеленое море,
мне дороже всех синих морей.



Дни напролет не смолкают веселые звуки
в дальностях неба, на всем протяженные
земли.

Нет первобытности:

дети прогресса, науки
быстро во все закоулки проникнуть смогли.

Взгляд отмечает одно, как бы ни был
мчавшихся, рвущихся вдали, нечая —
или вглубь,

или ввысь.
Брежу наивно дремотностью тнхх окраин,
где вырзевали бы исподволь
чувства и мысль.

Ритмы злочи освоились в кингах
и в лисьмах,
как динамитом, взорвав нетерпимость
строки.

Нет пасторальности в мире —
и ныне и присно —
с вечною скукой, с приладками вялой
тоски,

ВХОДИТ В ЖИЗНЬ...»

К моменту литературной учебы человек, которому есть что сказать другим, порой не имеет возможности откладывать свой багаж жизненных наблюдений в долгий ящик — возраст не тот! А писать роман или повесть, не зная основ профессии, тоже нельзя. Так возникает известное противоречие между потребностью выразить жизнь в произведении искусства, правом, так сказать, на это выражение и отсутствием необходимой писательской культуры. Нельзя тут упрощать. В Отчетном докладе ЦК КПСС об этом сказано чутко и диалектично: «Идет жизненный процесс обогащения искусства знанием жизни и, с другой стороны, давший процесс обогащения миллионов масс трудящихся к ценностям культуры». Отмечены «две стороны». А мы все еще встречаемся с крайностями в оценке, скажем, произведения, написанного с должным знанием жизни, но неумело, коряво, примитивно, без знания психологии...

Талант — редкость, талант — национальное достояние. А без культуры талант слеп. Поэтому в воспитании молодого писателя мы должны ориентировать его одновременно и на глубокое знание реальной действительности, на жизненный опыт в широком смысле, и на освоение всех культурных богатств, которые выработало человечество, на жажду знаний, на то высокое «любопытство», которое завещала нам классическая литература. А уж как он будет идти, — от «жизни» в «литературу» или параллельно с опытом жизни осваивая профессию, — дело характера, судьбы, индивидуальности, одним словом.

Собственно говоря, талант, как правило, гарантирует удивительную отдачу знаний, опыта; он помогает осилить и вершины культуры. Разве В. Шукшин, А. Вампилов, В. Распутин, О. Куваев, скажем, — писатели, чьи дарования распылились именно в последние годы, не являют нам пример полного слияния природного таланта, глубокого знания жизни, большой культуры!

В последние годы мы констатируем: чаще всего в «писатели» идут от другой профессии. Шахтер В. Титов, геолог Ю. Андропов, журналисты А. Макаров и А. Тоболка, моряк Гр. Тютюнник, инженер М. Ибрагимбеков...

Еще одна знаменательная черта поколения — «интеллигентность» дебюта. Какая география! Урал — Н. Голден, Дальний Восток — Вяч. Сукачев, Архангельск — В. Линутин, Ленинград — А. Ким и многие, многие другие. Большая плеяда ярких дарований поднималась во многих республиках — тоже характерная особенность именно этого периода. Р. Шавялис и В. Мартинкус — в Литве, И. Григурко и Б. Бойко — на Украине, Б. Херанаули, Г. Дончашвили — в Грузии — мы называем только некоторые имена: без них уже картина литературной жизни была бы неполной.

Общезвестно, что «производственная» тема в последние годы стала обретать истинно художественную форму в ряде произведений нашего театра, кино и литературы. Для юного гражданина нашего общества проблема выбора профессии — одна из граней «производственной» темы — часто прямо связана с нравственным выбором. Партия особо подчеркивает ныне важность решения искусства кардинальных проблем морали и «нравственных исканий»: «единство слова и дела» должно стать «повседневной нормой поведения». Выработать такую позицию можно только правдивой и честной беседой с молодежью о трудностях, которые стоят на пути строительства социализма и о том, что социальная активность молодежи — поступок и еще раз поступок. Тут возможен только доверительный и вызывающий уважение читателя разговор о жизни.

Источником вдохновения молодых писателей служат и такие важные темы, как борьба за мир, за освобождение народов, интернациональная солидарность трудящихся. И, разумеется, неослабевающая с годами память о героизме народа в Великой Отечественной войне против фашизма. «А молодое поколение, — говорил Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС, — чудодейством искусства становится сопричастным к подвигу его отцов или тех, совсем юных девчат, для которых тихие зори стали часом их бессмертия во имя свободы Родины».

Шестой Всесоюзный съезд советских писателей назовет новые имена. В строй действующей литературы встанут новые бойцы идеологического фронта, люди образованные, преданные Отечеству и, конечно, одаренные тем редким качеством личности, которое зовется талантом. Поднимаясь на трибуну съезда, они будут так же волноваться, так же горячо будут отстаивать свое понимание долга писателя, свои взгляды на искусство... И, кто знает, может быть, на следующем съезде писателей некоторые из них займут места в президиуме и с улыбкой вспомнят себя, молодых...

Но высшей мерой признания их заслуг останутся их книги — место, занятое писателем в сердцах людей, в народной памяти.



АНАТОЛИЙ
АЛЕКСИН



ПОВЕСТЬ

«БЕЗУМНАЯ ЕВДОКИЯ»

Чем дальше уходит дорога жизни, тем с большим удивлением двое, идущие рядом, вспоминают начало пути. Огни прошлого исчезают иногда где-то за поворотом... Чтобы события на расстоянии казались все теми же, теми же должны остаться и чувства.

А у нас-то с Надюшей где был тот роковой поворот? Сейчас, когда несчастье заставило меня оглянуться назад, я его, кажется, разглядел. И если когда-нибудь Надя вернется...

Мысленно я все время готовлюсь к тому разговору. Это, я думаю, еще не стало болезненно, но стало моей бессонницей, неотступностью. Ночами я веду диалог, в котором участвуем мы оба: Надя и я. Сюжет диалога всегда одинаков: это наша с ней жизнь.

Если прошлое вспоминается «в общем и целом», оно, наверное, умерло или просто не имеет цены. Лишь детали воссоздают картину. Порой неожиданные, когда-то казавшиеся смешными, они сейчас вдруг обрели для меня значительность.

Но почему все, о чем я теперь вспоминаю, так долго не обнаруживало себя?

Я должен восстановить разрозненные детали. Быть может, собравшись вместе, они создадут нечто цельное?

Мы с Надей работали в конструкторском бюро на одном этаже, но в разных концах коридора. Встречаясь, мы говорили друг другу: «Здравствуйте!», — не называя имен, потому что не знали их.

Когда же меня вместе с огромной чертежной доской решили переселить в Надину комнату, некоторые из ее коллег запротестовали: «И так уж не протолкнешься!»

— Одним человеком меньше, одним человеком больше... — стал убеждать представитель дирекции.

— Это смотря какой человек! — сказала Надюша.

Потом, возникшая из-за своей чертежной доски, словно из-за ширмы кукольного театра, я нарочно встречался с Надей глазами и улыбался, чтобы она поверила, что я человек неплохой. С той же целью я пригласил ее однажды на концерт знаменитой певицы.

— Пойдемте... Я тоже пою! — сказала она. И добавила: — Правда, есть одно затруднение: у меня насморк и кашель. Таких зрителей очень не любят.

Рисунки
Марины
ПИНКИСЕВИЧ.

Но именно там, в Большом зале консерватории, я ее полюбил. В течение двух отделений Надя героически старалась не кашлять и не чихать. А когда знаменитую певицу стали вызывать на бис, она шепнула:

— У вас нет платка? Мой абсолютно промок. Вот уж не ожидала от всего маленького носа такой бурной активности!

Она напоминала ребенка, который в присутствии гостей, повергая родителей в ужас, может поведать обо всех своих намерениях и выдать любые тайны семьи.

«Милая детская непосредственность...» — говорят о таких людях. Надиня непосредственность никогда не была «милой», — она была удивительной. Покоящей... Ее синонимом была честность. Я-то ведь не отказался сообщить ей, что сочиняю фантастические рассказы, которые никто не печатает! Тем более что, как я узнал окольным путем, она этот жанр не любила:

— Столько фантастики в иных реалистических произведениях!..

А когда я сказал Надюше, что мечтаю на ней жениться, она ответила:

— Только учите, у меня есть приданое: порок сердца и запрет иметь детей.

— В вас самой столько детского! — растерянно пошутил я.

— С годами это может стать неестественным и противным, — ответила Надя. — Вообразите себе пожилую даму с розовым бантиком в волосах!

— Но ведь можно в конце концов и без...

— Нет, нельзя, — перебила она. — Представляете, какая у нас с вами была бы дочь!

С той поры иметь дочь стало нашим главным желанием. Будущие родители обычно мечтают о сыновьях, а мы ждали дочь.

«Мечта о потомстве? Ясно... Запретный плод!» — говорили знакомые. Эти воспоминания были не только банальными, но и неточными. Надюша, мало сказать, не прислушивалась к запретам врачей — она просто о них забыла. И только глаза, которые из-за припухлости век становились по утрам вроде бы меньше и уже, напоминали о том, что порок сердца все-таки есть.

— Почти всех женщин беременность украшает... На ком ты женился! — говорила Надюша, разглядывая себя в зеркале по утрам.

Другие мечтали о сыновьях... А мы ждали Оленьку. И она родилась.

«Она не могла поступить иначе!» — написала мне Надюша в своей первой записке после того, как нас на земле стало трое. — Меня полгода держали в больнице. Разве она могла обмануть мои и твои ожидания? Спасибо ей! С этой фразы, я думаю, все началось. Эта фраза перекинула мост и в тот страшный день, который разлучил нас с Надюшей. Мост длиною в шестнадцать лет и два месяца...

Это было воскресенье. По радио началась передача «С добрым утром».

Надя вместе с картошкой, которую она чистила, переместилась поближе к приемнику.

— Не пою сама, так хоть послушаю, как поют другие, — сказала она.

— А разве ты уже... не поешь? — удивился я.

— А разве ты не заметишь?

— Я как-то... Пожалуйся, не сердись.

Наоборот, я горжусь: незаметно уйти со сцены — это искусство.

Надя любила подтрунивать над собой. Я знал, что на это способны только хорошие и умные люди. Жизнерадостные голоса, женский и мужской, попеременно, как бы забегая из радиоприемника к нам в комнату, желали, чтобы утро для всех было ясным и добрым.

В дверь постучали.

— Звонок не работает, — сказала Надюша. — Пробки, что ли, перегорели?

Стоило мне прикоснуться к замку, как по ту сторону двери закричали:

— Оля дома?

Я увидел на пороге Евдокию Савельевну, классную руководительницу нашей Оленьки, и двух Олиных одноклассниц — Люсю и Боря. «Вырос Боря нам на горе!» — пошутила однажды Оленька.

Она часто и легко переходила на рифмы.

Боря был самым высоким в классе и всегда что-нибудь или кого-нибудь собой загромождал. А тут он хотел, чтобы Евдокия Савельевна сама его за-слонила, и поэтому неестественно пригнулся.

Хрупкая Люся тоже спряталась за громоздкой, но очень податливой фигурой своей классной руководительницы. Евдокия Савельевна была в брюках, старомодной шлале с обвислыми полями и с рюкзаком за спиной.

— Оля дома? — повторила она.

— Нет.

— Она не вернулась?

— Нет.

— Как... нет? Что вы говорите?

— Она же ушла вместе с вами. В поход...

— Это так. Это, безусловно, так. Но вчера вечером она куда-то исчезла.

Я почувствовал, что сади, за мной, стоит Надя. Она не сказала ни слова. Но я почувствовал, что она сади.

— И ночью Оленьки не было? — полушепотом-полукриком спросил я.

Они молчали. Это было ответом, который заставил Надюшу за моей спиной произнести:

— Где же она теперь? — Я не узнал Надиного голоса. Не уловил привычных для меня интонаций.

Трудное умение взглянуть на события собственной жизни со стороны, спокойное чувство юмора всегда помогали Наде удерживать себя и меня от радостной или горестной истерии.

— Ты бы одолжила мне свое чувство юмора, — попросил я ее однажды.

— У меня... юмор? Смешно! — сказала она. — Но свой собственный сбереги. Он помогает смягчать крайние человеческие проявления.

— Эти проявления всегда очень опасны, — сказала она в другой раз. — Потому что отрывают человека от людей и делают его одиноким.

— Не понимаю, — сознался я.

— Значит, виноват объяснявший! Мы часто излагаем то, о чем размышляли целые годы, так, будто и наш собеседник размышлял вместе с нами. И еще удивляемся: почему он не понимает нас с полуслова!..

Я любил, когда Надюша мне что-нибудь растолковывала: она делала это легко, не настырно. «Преподавай она в школе, все были бы отличниками», — думал я.

— Вот и растолкуй мне... О вреде, как ты сказала, «крайних человеческих проявлений»!

— Верней, о безтактности их, — сказала она. — Это как раз очень ясно. Например... Когда слишком уж бурно лисуешь, не мешало бы вовремя спохватиться и подумать о том, что кому-то сейчас в пору за-

плакать. А упиваясь собственным горем, не мешает подумать, что у кого-то в душе праздник, который, может быть, не повторится... Надо считаться с людьми!

Что-то подобное Надюша сказала мне и в тот день, когда я, потеряв от счастья человеческий облик, переносил Ольшенку из родительного дома в такси.

В соседнюю машину с такими же шашечками на боках сядились, как рассказала мне потом Надя, жена и муж, сын которых в результате родовой травмы не двигался.

...И вот впервые Надя изменила себе. Ее тревога не знала границ, была не в состоянии щадить окружающих.

— Где же она... теперь? — повторила Надюша.

Потрясенный ее состоянием, я крикнул:

— Оля просто не вынесла... Всею есть предел! Я сказал так, потому что именно она, ее трое, все еще стоявшие за порогом, были причиной частых страданий и слез нашей дочери.

— Сейчас уже утро. А ее нет! Ее нет!.. Где же она?! Куда же она?... — спрашивала меня Надя.

Она сама приучила меня чаще задавать трудные вопросы, чем отвечать на них. Поэтому я беспомощно повторял одну и ту же нелепую фразу:

— Не волнуйся, пожалуйста, Наденька. Не волнуйся!

А те трое были еще за порогом. «Виновники... главные виновники того, что произошло!» — мысленно повторял я.

Что именно произошло, я не знал. И неизвестность, как всегда в таких случаях, была самым страшным.

Огромная шляпа с обвислыми полями скрывала лицо Евдокии Савельевны.

Люся по-прежнему пряталась за спинкой классной руководительницы, а Боря изучал каменные плитки у себя под ногтями.

Наверно, я смотрел на них не просто с осуждением, а с ненавистью.

Евдокия Савельевна было пятьдесят четыре года: она называла себя «предпенсионеркой». Но ей можно было бы дать и пятьдесят семь лет и тридцать девять: она была, как говорят, женщиной без возраста.

Поскольку Евдокия Савельевна раз и навсегда решила, что внешность и годы значения для нее не имеют, она и одежде никакого внимания не уделяла. Поверх модных, где-то выпохла случайно купленных брюк она могла надеть широкую юбку, заправить в нее мужскую кофевку, а в короткие, под мальчишью подстриженные волосы воткнуть кожаный гребень «времен Очаковских и покорения Крыма».

Приблизительно в таком виде и предстала она перед родителями учеников 9-го класса «Б» на одном из собраний.

На том собрании Евдокия Савельевна, помнится, объясняла нам, как важно прививать детям чувство прекрасного, учить их замечать и понимать красоту.

Однажды ранней весной я увидел ее в белой панаме с такими же печально обвислыми полями, как будто на улице стояла жара. Хотя все, и она в том числе, были еще в пальто... В тот день она, продолжая борьбу за прекрасное, вела свой класс в какой-то музей.

А я пришел сообщить, что Ольга готовится к выставке юных скульпторов, и попросил освободить ее от экскурсии.

— Привычная мизансцена! — воскликнула Евдокия Савельевна. — Все вместе, а она — в стороне. Классная руководительница очень любила, чтобы все было вместе. И с нею во главе!.. Я был уверен, что в искусстве ей ближе всего хор и хордебалет.

В классе она привыкла замечать незаметных и выделяла тех, кто ничем абсолютно не выделялся. Характер у нее был вулканического происхождения. Говорила она громко, то восторгаясь, то возмущаясь, то изумляясь.

«Наша безумная Евдокия!» — сказала о ней Оля. С тех пор у нас дома ее так и стали называть — «безумная Евдокия».

— Костя Белкин еще недавно не мог начертить прямую линию, а теперь у него по геометрии и черчению твердые тройки! — восклицала она на родительском собрании. — Учительница математики предполагает, что в будущем он может добиться четверки. Это — радостное событие для нас всех!

— Люсю Катунину включили в редколлегия общешкольной стенной газеты. Она умеет писать заголовки. Это приятно для нас всех!

«Все», «ко всем», «для всех» — без этих слов не обходилось ни одно ее заявление. Она хвалила тех, кто смог наконец начертить прямую линию, и тех, кто умел писать заголовки. Но о нашей дочери, которая училась в художественной школе для особо одаренных детей, она вспоминала лишь в связи с тем, что Ольшенка в чем-то не приняла участия и куда-то не пришла вместе со всеми.

Когда Оле было семь лет, у нее обнаружили искривление позвоночника. Мы с Надей повезли ее к Черному морю в Евпаторию. Там к Ольшенке впервые пришло признание. Весь пляж поражаюсь ее умению лепить фигуры людей и зверей, рисовать на мокром песке пейзажи и лица.

«Чем сегодня порадуешь ааша Ольшенка?» — спрашивали у нас с Надей.

Но «безумную Евдокию» Ольшенка никогда и ничем не радовала. Она ее огорчала... Хотя за девять лет, которые минули после нашей поездки в Евпаторию, дочь добилась больших успехов. Они-то и раздражали классную руководительницу. Про Ольшенку нельзя было сказать, что она «как все»... Но разве она в этом была виновата?

Кроме Оли, никто в 9-м «Б» не собирался стать скульптором или художником. Но Евдокия Савельевна уважала людей других профессий.

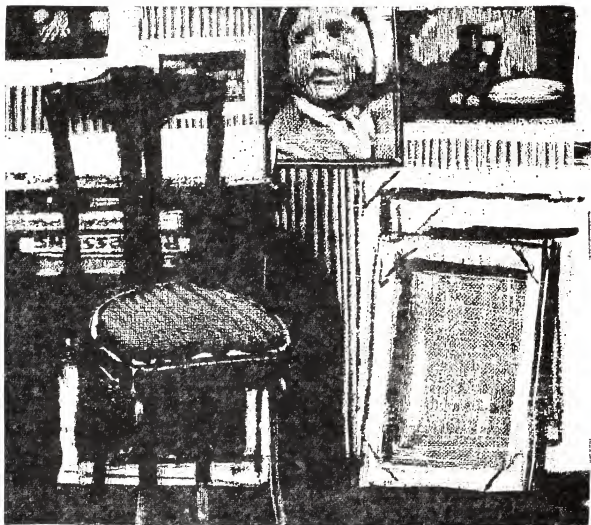
— Вася Карманов оправдал мои надежды. Полностью оправдал! — восклицала она. — Стал директором троллейбусного парка! А начал с того, что сидел за баранкой.

«Прошел путь от водителя до руководителя», — сказала нам дома Ольшенка. — Точнее сказать, проехал!»

— Вот Лева Лапшин... Полностью оправдал мои ожидания! — шумела на родительском собрании «безумная Евдокия». — Теперь он старший диспетчер. Старший! Я хочу, чтоб и ваши дети были такими.

Более высоких задач она перед нами не ставила. Она постоянно воспитывала учеников нынешних на примере учеников былых, для чего устраивала встречи и собеседования. А Ольшенка в это время занималась в художественной школе. Да еще изучала итальянский, чтобы прочитать о гениях Возрождения на их родном языке.

А всех бывших учеников у Евдокии Савельевны была заведена картотека. Как в читальнях и библиотеках на книги... В карточках, помимо адресов, те-



лефонов и биографических сведений, было отмечено, когда проведена встреча с бывшим учеником и сколько ребят присутствовало.

— Их отрывает от дела. Нас отрывает,— вздыхала Оля.— Ну, если бы сутки были в два раза длиннее! Тогда бы уж пусть...

— Ты абсолютно права,— согласалась Надя.— Но будь снисходительной. У нее нет семьи, ей некуда торопиться.

Надюша жалела «безумную Евдокию», но еще больше опасалась за Оленьку.

— Не надо конфликтов,— просила она.

Этот страх преследовал нас обоих со дня рождения дочери: а вдруг с ней что-то случится?

В семье, состоящей из трех человек, всегда кто-нибудь оказывается в меньшинстве: либо мужчина, либо женщина. У нас в меньшинстве были мы с Нейей: центром семьи и ее лицом стала дочь. Она заслужила это право. И мы были счастливы.

Когда-то, очень давно, я посылал свои фантастические рассказы в редакции толстых и тонких журналов. Мне прислали ответы на гладкой, плотной бумаге с названием журнала сверху. Выразив ува-

жение в начале и в самом конце письма, в середине мне объясняли, что мои литературные опусы лишены самобытности. Похожесть была моей главной бедой. Учился я у Евдокии Савельевны, она бы меня обожала!

А Оля даже посуду мыла каким-то своим способом: бешумно и быстро.

— Не оstri по поводу этих встреч с бывшими учениками,— просила Надюша.— И ничего не рифмуй. Я прошу тебя.

— Но я хочу понять,— отвечала Оля,— почему все мы должны тратить время и силы на то, что доставляет радость одной Евдокии. Эти люди ей дороги? Пусть и встречается. Но ведь так можно устраивать вечера в честь любого из жильцов нашего дома. Каждый кому-нибудь дорог. Разве я не права?

— Ты права... Но все-таки, пожалуйста, не рифмуй.

Я рифмую бездарно. Евдокия Савельевна должна радоваться таким рифмам!

— И все-таки я прошу тебя...

От бывших учеников «безумная Евдокия» тре-

бывала, чтобы они подробно рассказывали с своих «трудовых буднях»: бухгалтер — про бухгалтерию, начальник ЖЭКа — про ЖЭК, шеф-повар — про кухню.

— Как это было интересно! Как поучительно! — восторгалась Евдокия Савельевна.

И ученики, которых она своим громким голосом как-то тихо сумела прибрать к рукам, послушно встали, что им было действительно интересно. А Оля молчала... Потому что з час встречи чинешних с бывшими она десятый раз перерисовывала какого-нибудь «старика с телеграммой в руке» или мучилась оттого, что фигура собаки получилась статичной, а собачий взгляд не выражает собачьей верности и ума.

Евдокия Савельевна обожала выставки и вернисажи. Но, устраивая экскурсию в музей, она на первом месте по значению ставила все же слово «экскурсия».

Увидев как-то по телевидению Олины рисунки и скульптуры, заучу предложила организовать в школе показ этих работ. Поинтересовались мнением классной руководительницы... Но оказалось, во-первых, что у «безумной Евдокии» нет телевизора. А, во-вторых, она предпочла устроить выставку произведений все х, кто умел держать в руках кисточку и карандаш. У Оли она взяла всего два рисунка, чтобы было не больше, чем у других.

Однажды в 9-м «Б» решили разыграть на английском языке сцены из шекспировской «Двенадцатой ночи». «Безумная Евдокия» преподавала историю, но тем не менее стала режиссером спектакля. И хотя было известно, что Оленька владеет английским лучше всех в классе, ей довелось произнести на сцене всего несколько фраз. Главные роли исполнили любимые Евдокией посредственности.

— Она нам все время напоминала, что нет маленьких ролей, а есть маленькие актеры, — рассказывала потом Оленька. — Поддавала нас опытом Станиславского!

— Но он вряд ли имел в виду, что маленькие актеры должны исполнять большие роли, — сказала Надюша.

— С маленькими спокойнее, — объяснила мам Оля. — И вообще они ей гораздо ближе. Привыкните к этому. И смиритесь.

— Увы, нелегко придется нашей талантливой дочери в мире людей обыкновенных, — сказала я Надюше.

— Мы с тобой тоже обыкновенные, — ответила она. — Но разве мы страшимся талантов!

Классная руководительница и в самом деле уродила умени и поступками учеников 9-го «Б». И вслед за ней они не желали замечать того, что было для них непривычным. Яркое не радовало, а ослепляло их. Как бы надев защитные очки, они сквозь них и смотрели на нашу Оленьку.

В один миг я вспомнил все это, глядя на шляпу «безумной Евдокии», которая скрывала ее лицо. Что же там произошло, в этом походе? Как еще узнали там нашу девочку? Почему не выдержала она! И где же она теперь? За моей спиной была Надя... с ее больным сердцем.

«Оленька исчезла вчера вечером. Если она вот-вот не появится», — думал я, — невозможно представить себе, что будет с нами! Невозможно себе представить».

— Т оварят, что самые опасные недруги — это бывшие друзья», — сказала однажды Оля. — Я убедилась, что это так. — Помолчала и добавила. — О ком я говорю, спроси... И я отвечу: о Люси!

Люсю Катунину она называла на французский манер: Люси. «Как в доме Ростовых!» — пояснила Оленька. — Или Болконских».

Люся упорно предвела нашей дочери судьбу Леонардо да Винчи. Несмотря на сопротивление Оленьки, она таскала за ней огромную папку с рисунками, даже готовила краски и мыла кисточки. Какая женщина устоит перед таким обожанием! Оленька стала дружить с Люси. Хотя времени на дружбу у нее было мало.

Да и у Люси его было не очень много. Люсиная мать в течение долгих лет не поднималась с постели. За ней ухаживала незамужняя Люсиная тетка, сестра отца. Но Люся то и дело звонила домой, даже когда была в школе или у нас в гостях.

Стремя доставить матери радость, она восклицала:

— Если б ты видела фигуру спящего льва, которую вылепила Оля! Я весь вечер говорю шепотом: вдруг он проснется?

Часто она забирала Олины работы, чтобы показать маме. И взяла слово, что, когда мама поднимется (а на это появилась надежда), Оля нарисует ее портрет.

Люся и сама потихоньку рисовала. Но мы видели только ее заголовки в общешкольной газете и в юмористическом журнале, который, по предложению Оли, носил название «Детский лепет».

Неожиданно все изменилось. Первые тучи появились в тот день, когда в художественной школе организовали встречу со знаменитым мастером живописи. Люся высоко чтит этого мастера. Но чтит его и все остальные, поэтому школьный зал был переполнен. И Оленька не смогла провести туда подругу.

— Я не нашла для Люси места в зале, — рассказывала в тот вечер Оля. — У дверей стояли церберы. А она обиделась... И за что? Академик живописи рисует гораздо лучше, чем говорит. Я сказала ей: «Ты знаешь его работы? Значит, ты с ним знакома. Художник — это его творчество».

— А она! — спросила Надюша.

— Вернула папку с рисунками. Как говорят, «заберите свои игрушки!»

— И что же дальше?

— Ну и мерси, дорогая Люси! — в рифму пошутила Оленька.

— Другей труднее найти, чем потерять, — сказала Надюша.

— Раз можно потерять — значит, это не такой уж и друг!

— Не нашла места в зале? — задумчиво произнесла Надя. — Если бы ты не нашла его у себя в сердце... Но ведь именно нашей семье она доверила свою самую горькую тайну!

В ту пору Люся узнала, к несчастью, что отец давно уже любит другую женщину, а не ее маму.

— Сейчас к Люсе надо быть снисходительней, — сказала Надюша.

— Обыкновенная история, — грустно ответила Оля. — Но каждый переживает ее так, будто ни с чем иного подобного не случалось.

— Я предлагала поговорить с ее отцом. Но она отказалась: «Я отца не виню». Логично... Анну Каренину мы тоже ни в чем не виним. Правда, Каренин не был прикован к постели. Все слишком сложно. Поди разберись!

— Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, — медленно процитировала Надюша.

Став непреходящей хранительницей отцовской тайны, Люся начала получать двойки.

— Трудно учиться, когда носишь в себе такое, — сказала Надюша. — До формул ли ей сейчас? Люсю решили проробовать на классном собрании. Но Оля выступила в защиту подруги. Хотя это было уже после истории со знаменитым мастером живописи.

— Рука помощи может что-нибудь сделать, если ее не отталкивают, — рассказывала после собрания Оленька. — Люся же повернулась ко мне лишь для того, чтобы сказать: «Мне не нужна защита!»

«Откуда такая гордыня?» — подумал я. И вдруг вспомнил, как маленькая, хрупкая Люся доказывала мне однажды, что почти все великие люди были невысокого роста.

После проработки на классном собрании «безумная Евдокия» неожиданно взяла Люсю Катунину под свое крыло или, точнее сказать, под обильные поля своих старомодных шляп. Она сделала ее, двоичницу, старостой класса.

Тогда я понял, что Люсины обиды были лишь поводом. Просто она решила идти в общем строю... И относиться к Оленьке «по системе Евдокии Савельевны».

— Лет до ста расти нашей старосте! И все равно на — вырасти, — сказала с напускной веселостью Оленька. — Даже «безумная Евдокия» здесь не поможет. Хотя вырасти Люси очень хочется: сегодня отчитала меня за какое-то очередное дежурство, на которое я не пришла. «Но ты ведь знаешь, что я работала. Я лепила...» Скоро в художественной школе экзамены! — сказала ей. «У нас все работают!» — ответила Люся.

Все... всем... как все...

Я понял, что наша dochа впервые столкнулась с предательством.

В присутствии Нади я ни разу не произнес это слово. Когда в чей-либо адрес бросали резкое обвинение, она сжималась, словно камень был брошен в нее.

«Людей надо щадить», — всегда говорила она.

Надо щадить... Я думал об этом, стараясь разглядеть Люсю за спиной Евдокии Савельевны. Но она скрылась. Она боялась, что мы с Надюшей спросим: «Что же ты сделала со своей бывшей подругой, Люси?»

Если когда-нибудь будут исследовать ранний период творчества Оленьки и захотят задаться, кто же в те годы больше всех мешал ей работать, придется назвать Борю Антохина, — шутило сказал я однажды.

Но вообще-то это была не шутка.

Самый красивый парень не только в Олином классе, но и во всей школе, Боря мог бы посвятить себя романтическим похождениям, а посвятил неукротимой общественной деятельности.

Хоть бы какая-нибудь Мона Лиза из восьмого или девятого класса отлегла егерь, — выражала надежду Оленька.

Но Боря не отвлекался. Он был главным проводником в жизнь всех замыслов и идей Евдокии Савельевны.

Иногда у него возникали и свои собственные предложения.

— Я вот подумал... Почему бы тебе не разрисовать стены школьного зала?

— Я рисую главным образом лица... портреты.

Через несколько дней у Бори возникло новое предложение:

— Я вот подумал... Почему бы тебе не создать галерею портретов старших учителей нашей школы?

— Учителя мне будут позировать?

«Почему бы тебе не...» — так обычно начинал Боря. И Оленька объясняла ему, «почему». Объясняла в школе, по телефону. Боря частенько звонил нам, чтобы напомнить Оле об ее общественном долге. Я понимал, что «безумная Евдокия» поручила ему волею Олю в стрелителный круговорот школьных мероприятий. Она была единственной «неохваченной», и Боря должен был ее охватить.

— Нарисуй его собственный портрет, — посоветовал я дочери. — И, может быть, он успокоится.

— Красивые лица для художника не интересны, — ответила Оля. — А внутренней красоты я в Антонике не замечаю.

Боря изучил расписание занятий в художественной школе. И иногда перехватывал нашу дочь по дороге домой.

— Евдокия Савельевна просила тебя быть сегодня на встрече с ее бывшим учеником. Потому что он в детстве тоже считался художником. Эстафета увлечений! Ты понимаешь?

Так он обещивал Олину «явку».

— Он следит за мной! — с возмущением говорила Оленька. — Если полкаса не придет мыть окна, это ничего. Но если я не приду, он казварту обязательно скажет: «Ты слишком заметна, чтобы отсутствовать. Все удивлялись!» А удивлялись, я уверена, только он да Люси с Евдокией.

Несколько раз, когда Оля заблевалась, Боря Антохин приходил к нам домой.

— Если бы я была девятиклассницей, я бы в него влюбилась, — сказала Надюша, виновато взглянув в мою сторону.

Но я был спокоен, поскольку знал, что обратной дороги в детство не существует.

— Как можно любить вычислительную машину! — с возмущением ответила Оленька. — Вы слышали, зачем он пришел? Чтобы вычислить, успею ли я подняться ко дню переизборного собрания!

Боря Антохин действительно объяснил нашей дочери, что растяжение сухожилия — болезнь несерьезная и что Оля, прихрамывая, вполне может прийти на собрание.

Он тоже воспитывал нашу Оленьку на примере бывших учеников Евдокии Савельевны. А чаще всего на примере ее любимейшего ученика Мити Калягина.

Митя был самой большой гордостью классной руководительницы.

— Он оправдал мои ожидания. Прекрасный человек! Теперь самосвал водит... Я уверена, что он всегда примчится на помощь, если она нам понадобится!

— Никагда нас не катали на груженом самосвале! — все-таки пошутила со своей третьей парты Оленька.

«Безумная Евдокия» шуток не понимала. Она сказала, что когда-нибудь Оля осознает «кошущность» своего заявления.

— Митя Калягин — ее святыня, — сказала Оле Надюша. — А когда речь идет о святынях... Еще раз очень прошу тебя: не рифмуй!

Митей «безумная Евдокия» гордилась не зря... В первые дни фашистской оккупации он, больной, с высокой температурой, сумел доставить своему дяде-врачу в рабочий поселок, что был в тридцати километрах от города, лекарства и хирургические инструменты. Его дядя-невропатолог, никогда не де-

лавший операций, извлек пули и вылечил двух наших солдат, которых скрывал у себя в подвале. Митя тогда проявил не только смелость, но и находчивость: из многих дорог, которые вели к дому дяди, он выбрал самую короткую и ту, на которой его не подстерегала встреча с врагами.

Если кто-нибудь из учеников 9-го «Б» отпрашивался с уроков, ссылался на головную боль, Евдокия Савельевна говорила:

— Вспомните, что перенес Митя Калягин! А ведь он был шестиклассником. То есть на три года моложе вас!

То же самое она говорила, и если кто-нибудь задерживался дома из-за простуды или ангины. Когда она однажды сравнила Олин бронхит с трудностями, перенесенными Митей Калягиным, мне на память пришел дряхлый анекдот: «От чего умер ваш сосед?» «От гриппа!» «Ну, это не страшно!»

Когда «безумная Евдокия» решила устроить поход девятых классов по местам, связанным с боевой деятельностью Мити Калягина, Боря сразу предупредил Оленку:

— Не вздумай принести справку! Этому походу придется большое значение.

— Кем придется?

— Всеми.

Два девятых класса должны были порознь искать тот самый, «самый короткий путь» к дому дяди-врача, который десятки лет назад обнаружил Митя Калягин. Если бы дорогу отыскали оба девятых, победителем считался бы класс, который первым собрался. «Безумная Евдокия» обожала устраивать состязания!

Накануне похода девятиклассники встретились с Митей Калягиным. Оленька успела набросать в блокнот Митин портрет.

— Он лысый? — удивился я.

— Худенький, лысый... Евдокия Савельевна объяснила, что это результат военного детства. И очень застенчивый! Никогда не ассоциируется с самосвалом, на котором приехал. Одним словом, он мне понравился.

О всем подвиге Митя Калягин рассказывал как-то не всерьез, словно и тогда, в сорок втором году, это была военная игра, а не настоящая война, и были не настоящие ранения, которых они с дядей спасли.

— Дядя писал в записке, что надо бы поскорее. А у меня температура тридцать девять и пять. Комедия! — вспоминал Митя.

Записка у Мити сохранилась. Евдокия Савельевна попросила показать ее всему классу.

Торопясь к дяде, Митя вскочил на ходу в кузов грузовика: маленьким был, никто не заметил.

— Кашлять было нельзя... А у меня воспаление легких. Комедия! — продолжал Митя.

И выскочил он тоже на ходу, возле станции.

— Чуть было не попал под машину. Которая создавала... Вот была бы комедия!

Он, как и Надя, умел подтрунивать над собой. Я знал, что на это способны лишь хорошие, умные люди. Выскочив возле станции, Митя начал искать самый короткий путь. Лекарства и инструменты были защищены в стареньком ватнике.

— Ватник, к сожалению, не сохранился, — сообщила Евдокия Савельевна.

Девятый класс, который первым Митиной дорожкой добрался бы до домика дяди-невропатолога, должен был получить, как сказал Митя, «приятный сюрприз».

— Ну зачем ты, Митя? Зачем? — кокетливо застенялась вдруг «безумная Евдокия». Кокетничала она очень громоздко и неуклюже.

Девятые классы дошли в субботу до той станции, до которой Митя Калягин добрался когда-то на попутной машине. Расположились на ночлег.

А через несколько часов Оленьки уже не было.

«Не вздумай принести справку!» — предупреждал ее Боря Антохин

— Пойди, Оленька, советовала ей и Надюша. — Раз походу придется большое значение... И школы ты скоро кончаешь. Пойди!

— Но я пропущу занятия по рисунку.

— Все равно пойди.

И она пошла.

Я смотрел на Боря Антохина и мысленно спрашивал: «Почему же на этот раз ты не ушел за ней, Боря? Мы были бы так тебе благодарны!»

Я вспомнил обо всем этом... А они трое так и стояли за порогом. Мне казалось, что они стоят уже очень давно. Но прошли всего лишь минуты, потому что передача «С добрым утром!» была в самом разгаре.

Обернувшись, я впервые за это время увидел Надю. И понял... навсегда понял, что матери и отца. (даже самые любящие отцы!) все же чувствуют неодинаково. Она не могла вспоминать, анализировать, взвешивать... Одна мысль возлилась в нее неожиданно, как шаровая молния, влетевшая в открытое окно, и сжигала ее изнутри: «Где сейчас Оля?»

Я молчал. Потому что ничей в мире голос утешить ее не мог. Кроме голоса дочери... если бы он зазвучал вдруг на лестнице, в комнате, по телефону. Она ни к кому не имела претензий, ни из кого не сердилась — для нее ничего не существовало, кроме вопроса: «Где сейчас Оля?»

— Я позвоню Мите Калягину, — сказала Евдокия Савельевна.

— Зачем? — спросил я.

Не ответив, она переступила порог. Люся и Боря вошли след за ней.

Евдокия Савельевна сразу же позвонила Мите и попросила его приехать. Наш адрес она помнила наизусть, хотя дома у нас никогда не бывала.

— У нее феноменальная память! — слышали мы от Оленьки. — Помнит, кто какого числа съезжал двойку по математике, а сама историчка. И кто сколько дней пропустил, помнит так же хорошо, как даты великих сражений.

— Значит, вы ей не безразличны, — отвечала Надюша.

— Просто ей больше не о чем помнить!

— Женщины, у которых нет личной жизни, часто с утренней энергией бросаются в жизнь общественную, — стремясь поддержать Оленьку, сказал я. — И что же в этом плохого? — спросила Надюша.

Она понимала, что мы с Олей вправе не любить классную руководительницу 9-го «Б». Понимала, что «безумная Евдокия» из-топсы сил старается не только убить веру других в нашу школу, но и в ней самой поколебать эту веру. И все же Надя мечтала, чтобы конфликт уступил место взаимопониманию.

«Оля шла навстречу этому миру, — думал я. — Но они... вторым училили что-то такое, чего она не выдержала, не стерпела. И теперь каждая минута жи-



ни стала невыносимой. Где она? Где! А они уезжают, чтоб не смотреть нам в глаза.

— Что же все-таки произошло? — спросил я.
— Ничего... Ничего не было! — затараторила Люся. — Вечером все получили задания и разошлись. Кто за хворостом, кто за водой, кто рассортировать жителей... о дорогах к тому послал. — Люся остановилась. И чтобы Надя не услышала, шепотом добавила: — Все вернулись, а она нет... Но спохватились мы только утром. Были в разных палатках.

— Надо сообщить всюду, — сказала Евдокия Савельевна. — Ничего страшного быть не может! Но надо сообщить.

С этой минуты Надюша окончательно перестала владеть собой.

Евдокия Савельевна составила список телефонов: милиция, дежурный по городу, больницы, местные власти той станции и того поселка... Позвонив, она ставила черточку возле номера, который в очередной раз ничего не прояснил и ничем не помог.

Делаю она это методично, спокойно. Только пальцы, когда она крутила диск, не вполне были ей послушны. Она не туда попадала, извинялась и вновь набирала номер.

С каждым ее звонком мне становилось яснее, что с Олей стряслось что-то невероятное... трагическое. Чего подправить уже нельзя.

«Если Оля убежала от своих спутников вечером», рассуждал я, — она могла тут же сесть на электричку и приехать домой. Если же последний поезд уже ушел, она провела бы ночь на станции и вернулась домой рано утром: электрички ходят рано утром, с шести часов».

Я слышал, как Евдокия Савельевна методично развешивает по телефону, что случилось, всякий раз повторяя:

— Конечно, ничего страшного не произошло.

На другом конце провода не были так твердо уверены, что не произошло ничего страшного, — и ей приходилось рассказывать о деталях, подробностях. А Надюша пересекала комнату по одному и тому же маршруту: от двери к окну и обратно. Туда и обратно, туда и обратно.

Мы с Надей потеряли способность действовать. Мы могли только ждать.

Я слышал Евдокию Савельевну... Меня раздражало, что организаторский талант ее оставался прежним, а голос нарочито спокойным и громким, словно старшимся заглушить совесть. Надя же потеряла зрение и слух. Она могла лишь передвигаться по одной линии: туда и обратно, туда и обратно.

Маленькая, юркая Люся хорошо знала нашу квартиру. Она побежала на кухню и приключалась оттуда с пузырьком и чашкой, в которой была вода. Надя, обхватив голову, стремительно, как челнок, перемещалась по комнате, а Люся бегала за ней с чашкой и пузырьком.

Из всех нас только Боря Антохин не двигался с места.

Он всегда стеснялся своего красивого лица и слишком высокого роста: сутулился и воевал по лицу ладонью, как бы прикрывая его. Голос у него был тоже красивый, густой — и он его приглушал. А тут Боря и вовсе хотел, чтобы о нем позабыли.

«Еще бы... Ведь именно он сказал Ольке: «Не вздумай принести справку!» Что же ему теперь остается? — думал я. — Скрошный... Не хочет быть на виду. Знакомы мне эти тихие мальчишки!»

Евдокия Савельевна прикрыла трубку рукой и сказала:

— Им нужны ее фотографии. Последнего времени...

Я бросился к шкафу, достал альбом, начал листать его.

— В последнее время она не снималась, — сказал я.

— У меня есть ее карточки, — неожиданно произнес Боря Антохин.

Он полез в боковой карман своей куртки. Вытащил пять фотографий и разложил их на столе с такой осторожностью, будто они еще не высохли.

— Это было на той неделе, — пригласил голос, сказал Антохин. — Я снимал участников похода. Для нашей газеты.

— Отвези их! — Евдокия Савельевна снова вернулась к трубке. — Где вы находитесь? — Она записала адрес и протянула его Боре Антохину. — Оттуда сразу назад! Помни: мы все тебя ждем. Тогда уже наверняка будет Митя Калятин. Вы с ним поедете обратно. Туда, к нашим... И поднимите их на поиски. Надо будет прочесть лес!

— А что... там большой лес? — спросила Надюша. Наконец она о чем-то спросила.

— Да что вы! — воскликнула Люся.

Ее громкий, но неопределенный ответ заставил Надю замедлить шаги. И она машинально начала передвигаться по комнате не так быстро, как прежде. Туда и обратно, туда и обратно... На Олины снимки она не взглянула.

Боря собрал их осторожно, будто они так и не высохли. Опустил в боковой карман и, пригнувшись, ушел. Люся же с чашкой и пузырьком, которые Наде не пригодились, стояла на балконе и неотрывно смотрела вниз.

В телефонных переговорах «безумной Евдокини», в желании Люси первой все увидеть и обо всем сообщить, в той бережности, с которой Боря Антохин раскладывал и собирал Олины фотографии, мне чудилось что-то страшное. Я был уверен, что они искупают вину. Но каких же ее размер? Что именно они допустили там, в походе, если Оля не вытерпела? И что она в минуту отчаяния могла совершить? И кого могла встретить ночью... на неизвестной дороге?

Внезапно раздался звонок. Надя опустилась на стул. Я отяжелевшими ногами зашагал в коридор. Но Люся опередила меня.

— Митя Калятин! — с преувеличенной радостью воскликнула она. Слово мы только его и ждали.

— Ты на машине? — деловито спросила Евдокия Савельевна.

— Машина внизу! — ответила за него Люся, разглядывая с балкона, что внизу стоит самосвал.

Митя виновато кивал на свои промасленные брюки: дескать, застали яраслох.

Он был действительно щуплым, и волос на голове почти не было. Евдокия Савельевна не стала объяснять нам, что это «результат военного детства», а сказала:

— Митя, пойдём-ка со мной на кухню.

— Ничего секретного она ему там говорить не собирается! — затараторила Люся. — Просто ей не хочется при вас повторять...

Надя не слышала. Евдокия Савельевна и Митя вернулись с кухни. Он вспомнил, что, когда отвозил дяде лекарства и инструменты, тоже приехал домой только утром. И мать не знала его ночь, где он.

— Я урал... с воспоминанием легких. А что было делать? Она бы не пустила меня. Сказала бы: «Сам отвези!» Я матерей раньше не понимал. Пока сам отцом не заделался.

Надя не слышала.

Митя рассказывал еще одну историю. О том, как его сын тоже один раз не ночевал дома и вернул-

ся только под утро. Оказывается, поссорился с девочкой... И сказал, что будет стоять под ее окном, пока она его не простит. Она преспокойно спала. Проснувшись утром, собралась в школу. Выходит, а он... все стоит. С самого вечера.

— И что вы сказали сыну? — спросил я.

— «Она же тебя не любит, дурак!»

— Это вы точно сказали.

Надя не слышала...

Раздался звонок. Она привстала. А Люся снова опередила меня.

Вернулся Боря Антохин.

— Я вот подумал... У меня есть и другие ее фотографии! — Он похлопал по боковому карману. — Заехал домой на обратном пути и взял. Надо будет раздать там, в районе. Чтобы мы не одни искали.

— Это так. Это, безусловно, так, — похвалила Евдокия Савельевна. — Если все возьмется за дело, мы быстрее достигнем успеха!

«Раньше надо было думать...» гораздо раньше! — хотел я сказать

— Мы ее найдем! — пообещал Надюше и Митя Калаягин.

— Но где... она может быть? — отчаянно вскрикнула Надя.

Все вздрогнули от этого крика. Даже Митя.

Евдокия Савельевна уже не могла деловито организовывать поиски. Она вдруг тяжело заматалась. Подскокивала к Мите, что-то шепнула ему, потом к Боре... И с неестественной громкостью сообщила: — Сейчас Митя с Борей поедут туда, и все выяснится. Вы ведь знаете, Митя во время войны решил более сложную задачу!

В ее голосе мне все явственней чудились интонации врача, убеждающего безнадежно больного, что вот сегодня он «выглядит молодцом». Но поверить этой интонации я не мог. Это бы значило...

У Надюши хватило сил только на тот отчаянный крик. Она снова, как челнок, заходила по одной линии — от двери к окну. От двери к окну.

«Выдержит ли ее сердце?» — с ужасом думал я. Митя с Борей уехали.

Евдокия Савельевна вновь установила пост возле телефонного аппарата. Она делала бессмысленные звонки: то просила дежурного по школе сообщить нам, если вдруг появится Оля, то обращалась с той же просьбой в художественную школу.

Так прошло еще полчаса или минут сорок.

По радио продолжались жизнеутраченные воскресные передачи. Никто приемник не выключал, потому что никто не хотел тишины.

Надюша почти беззвучно, механически шевелила губами.

— Что ты, Наденька? — наконец спросил я. И обнял ее.

Люся решила, что мы хотим о чем-то поговорить, и сразу же утащила Евдокию Савельевну на кухню

— Что ты, Надюша?

Она не ответила мне, как и не прекратила своего движения по комнате, но я разобрал слова:

— Это я уговорила ее... Это я...

Зазвонил телефон. Надя была в тот момент как раз возле него. И схватила трубку.

— Нет, не мать, — ответила она. — Честное слово, не мать. А кто? Учительница... из школы. Помню... Я помню... В бюрокх была. В синих бюрокх. Что вы говорите? Опознать?.. Кто опознать?

Трубка повисла на шнуре. Надя опустила ее и села на пол.

— Люся! — почему-то закричал я.

Они с Евдокией Савельевой прибежали с кухни.

— Я ее не узнаю, — говорила Надя куда-то в пространство. — Я ее не узнаю...

Ее подняли и посадили на диван. Она не двигалась, оцепенела.

Я положил трубку обратно на рычаг. Телефон сразу же зазвонил.

— Нас перебили, — услышал я спокойный, ко всему привыкший мужской голос. — Это я с кем говорю?

— С отцом.

— Сперва учительница подходила? Не мать?

— Нет, нет... Учительница.

— Тогда ничего. Тут бы на всякий случай опознать надо было...

— Кого?

— Вы за мной-то не повторяйте, Мать не слышит?

— Нет.

— Мы бы за вами заехали.

Хлопнула дверь.

Я выронил трубку... Выскочил в коридор.

— А где мамуля? Я привезла ей цветы! — Оля уже сняла с одной ноги туфлю и натягивала тапочку. — Представляешь, они все еще движутся к этому дяде... Во главе с «безумной Евдокией!» А я еще вчера вечером угнала самый короткий путь: Митя ночью переплыл реку на лодке. Иначе бы он столкнулся с патрулями. И меня лодочник перевез! — Она была упоена успехом. — Вот сюрприз... или приз, о котором говорил Митя Калаягин. Мне достался! — Она протянула какой-то конверт. — Я пришла первой. И дядя доктор вручил его мне. А где мамуля? Я привезла ей цветы! Утром в поле так хорошо!

Она сунула мне в руки букет ромашек.

Я не перебивал Олю.

Евдокия Савельевна и Люся не выходили в коридор. Они так и стояли около телефона. Трубка висела на шнуре. А Надя, оцепенев, сидела на диване. Сидела неестественно прямо, положив обе руки на колени.

— Наденька! Оля вернулась... — закричал я. — Оля вернулась!

— Я не узнаю ее, — ответила Надя. — Я не узнаю...

Через полчаса примчался самосвал Мити Калаягина.

По дороге Митю оштрафовали за превышение скорости.

— Большой прокол! — сказал он. — Талон продавали. Вот комедия!

Но это он сказал уже потом, войдя в комнату... А в коридоре поспешно сообщил мне:

— Все в порядке! Она ночевала у моих родственников. Вот и сам дядя... Живой свидетель!

— Она вернулась! — не приглушая голоса, воскликнул Боря Антохин, тоже приехавший на самосвале. И указал на туфли, которые Оля оставила в коридоре.

— Можно было, значит, не подвергать дядину жизнь опасности, — вздохнул Митя.

Дядя его был, наверно, всегда таким же худеньким, похожим на мальчика, как и племянник. Старость же еще решительней прижала его к земле. Казалось, в нем не было веса, и он держался за палку, чтобы нечаянный ветер не опрокинул его, не свалил с ног. Но глаза, как и Митины, обещали по-

ведать всем какую-то лукавую, несерьезную историю.

— Бы доктор? — спросил я.

— Была доктором, — ответил он.

— Полвека! — добавил Митя.

— Тогда можно вас попросить... на минутку? Мне бы хотелось посоветоваться.

На кухне я сбивчиво рассказал ему обо всем, хотя многое он уже знал. Не знал он только о том, что случилось после отъезда Мити.

— Вы ведь невропатолог? Это, наверно, по вашей части? К кому же у нее еще и порок сердца... Я очень волнуюсь.

Он вошел в комнату, где Надюша продолжала сидеть неестественно прямо, положив обе руки на колени. Ее оцепенение не прошло. Увидев доктора, она и ему сказала:

— Я не узнаю ее.

— Мамочка, я здесь... Я вернулась! — неизвестно в который уж раз втолковывала Оля, стоявшая перед ней на коленях. — Я вернулась! Вот доктор, Митин дядя... Он вручил мне приз. Потому что у меня пришла самая первая. Видишь? Фотография... Это Евдокия Савельевна во время войны. С теми двумя солдатами. Оказывается, она скрывала солдат у себя... После того, как доктор их выгнал. У себя прятала! — Оля объясняла это Надюше с той тщательностью и нетерпеливостью, с какой взрослые втолковывают малышам самые простые, изначальные истины. — Вот это Евдокия Савельевна...

— Вглядитесь, пожалуйста, — шепотом попросила и Люся. — Это молодая Евдокия Савельевна!

— Ну зачем же? — прошептала откуда-то сзади их классная руководительница.

— Оля вернулась! Ваша дочь уже дома. С вами! Ей ничего не грозит. Вы понимаете? Ей ничего не грозит! — с неожиданной для него волевой интонацией, внятно и твердо произнес Митин дядя.

— Я не узнаю ее, — сказала Надя.

Доктор еще и еще раз попытался установить с ней контакт. А потом палькой указал в сторону кухни.

— Это не по моей части, — сказал он мне там.

— Как... не по вашей?

— Я невропатолог. А психиатрия — это другая область.

— Она... вам кажется...

— Надо позвонить, чтобы за ней приехали. Именно оттуда.

Оля вошла на кухню и стала нервно мне объяснять:

— Я прошла дорогой Мити Калягина. Было такое задание. Ты же знаешь...

Я перебил ее:

— Он прошел этот путь, чтобы спасти людей. А ты, чтобы погубить... самого близкого тебе человека...

Мы возвращались из того дома, где осталась Надюша.

Оля с Люсей и Борей шли впереди. А мы с Евдокией Савельевной немного отстали. Митя увез дядю-невропатолога на своем самосвале.

Евдокия Савельевна была тихой, пониженной. Фигура ее уже не казалась такой громоздкой, а шляпа с обвислыми полями не выглядела такой нелепой.

— Если бы мы не приехали утром, не подняли шума, ваша жена была бы здорова. Выходит, я во всем виновата.

Она прозвела это грустно и убежденно. Без расчета на то, что я стану ей возражать. И все же...

Хотя родителям всегда хочется переложить вину детей на чьи-нибудь или на свои собственные плечи, я не посмел согласиться.

— Как же вы могли не приехать?

Она не ответила: широкие, обвислые поля шляпы как бы ограджали ее от того, с чем она в данный момент была не согласна.

— И выходит, что «безумной Евдокией» Оля прозвала меня не зря.

Судьба отомстила нам за это глупое прозвище, — возразил я. — Безумие пришло в наш дом. Что может быть страшнее? Помните... Пушкина!

Но дай мне Бог пойти с ума,
Нет, легче посох и суза...

— Это так. Это, безусловно, так. Но реактивное состояние часто проходит. Мне сказал Митин дядя.

— Вы не могли не взволноваться... и не приехать, — сказала я. — Но Оля, я думаю, этого волнения не предвидела. Она не представляла себе, что ее исчезновение примет так близко к сердцу, что начнутся поиски. Поэтому, может быть...

Сам того не желая, я стал излагать аргументы в защиту дочери.

Евдокия Савельевна сняла шляпу. У нас дома, в квартире, она ее не снимала. Видимо, она приготовилась к бою. И хотела видеть глаз противника.

А я не хотел сражаться. Мне просто нужно было выяснить и понять.

— Ну подумайте, — продолжал я, — разве могла, к примеру, Оля предположить, что Люся Катунина, которая так несправедливо, из-за ерунды обиделась на нее...

— Несправедливо? — перебила она. — Простите, мне не хотелось бы в буквальном, так сказать, смысле слова... за Олиной спиной... Она кинула на Олю, которая сгорбилась, будто и правда ожидала удара! — Но раз вы сами коснулись этой проблемы!

— Сейчас уже как-то мелко... все это перебирать. Но ведь Оленька не смогла провести ее на ту встречу.

— Это не так! — словно бы выстрелила она. — Это, безусловно, не так. Оля забыла о ней. Забыла! Вот что ужасно.

— Как забыла?

— Люся стояла на улице с тяжелой папкой ее рисунков. Она слышала через открытое окно, как Оля острела, задавала вопросы... Одним словом, проявляла эрудицию. А Люся даже уйти не могла: у нее в руках была папка!

— Вот видите, вы с такой раздраженностью. Зря я затеял!

Фигура ее опять стала громоздкой. Это, как ни странно, проявлялось в движении.

— Если бы примете сегодняшнюю историю за случайность, она повторится! Поверьте, что это так. Это, безусловно, так.

Как раз за мгновение до этого я хотел сказать, что один поступок не может полностью характеризовать человека. «Если он случаен!» — ответила бы она.

— Не подумайте, что Люся мне жаловалась, — спохватилась Евдокия Савельевна. — Она, как и вы, пыталась найти оправдание. Но оправдывать виноватого значит губить его.

— Вы думаете, Оля нарочно?

— Она просто решила, что любовь отбирает у людей гордость и самолюбие. Ведь Люся любила ее.

— Ну, если даже так... то потом, когда Люся не могла нормально учиться, Оля вступилась за нее.



Они с Надей одни только знали причину... И Оля пыталась всем разъяснить. Но Люся сказала: «Мне не нужна защита!»

— Она сказала: «Не нужна та к а я защита!» Одно слово меняет, как видите, очень много.

— Какая... та к а я?

— Мне не хотелось бы углубляться в чужую драму.

— Но раз мы начали...

— Про Люсины семейные трудности действительно, кроме Оли и Надежды Григорьевны, никто ничего не знал. И не должен был узнавать! А прежде всего ее мама, которая, как вы знаете, опасно больна. Оля же намекала на эти события... всему классу. У нас учатся ребята из дома, где живет Люся. А дом этот новый и очень большой... Сама Люся ни в чем не винила отца. И в чем же его винить? Полюбил... И пожертвовал своей любовью ради больной женщины. Это легко!

Я с удивлением смотрел на Евдокия Савельевну. Она говорила о любви так, словно сама была когда-то ранена ею. Обвислые поля шляпы то касались земли, то волочились по ней. Но она этого не замечала.

— Жить только собой — это полбеды, — жестко произнесла она. — Гораздо страшнее, живя только собой, затрагивать по хо д я и чужие судьбы.

«Все слишком сложно. Поди разберись!» — вспомнил я Олину фразу. И, будто угадав, что я подумал об этом, Евдокия Савельевна сказала:

— Если нет времени разобраться, лучше и не берись. А не пытайся небрежно, одной рукой разводить чужую беду!

— Неужели вы думаете, что Оля нарочно! — бесмысленно проговорил я.

— Ей было некогда вникнуть. Недосуг! Как недосуг было... она понизила голос, — заметить любовь Бори Антохина.

— Любовь?

— Разве вы не видели, сколько у него Олиных снимков? Меня он почему-то не фотографировал.

Мы с Надюшей были очень довольны, что Оля еще ни в кого пока не влюблялась. И объясняли это ее нравственной цельностью. «А может, ее любви хватало... лишь на себя!» — подумал я вдруг. — Нет, неверно! Она всегда любила Надюшу... искусство... Она хотела, чтоб мы ею гордились. Это ведь тоже... забота!»

— Вы не думаете, что этот последний Олин поступок, который кончился так ужасно... был все же протестом?

— Против чего?

— Против одиночества... в вашем классе.

— Тот, что любой ценой хочет быть первым, обращен на одиночество, — вновь четко сформулировала Евдокия Савельевна.

«Неужели это Оленька, их долгий молчаливый конфликт, — изумлялся я, — заставила ее вот так, заранее обдумав фразу, которыми она сейчас контратаковала меня?»

— Мои ученики не стали знаменитостями, — задумчиво, как бы замедлив нашу дуэль, сказала Евдокия Савельевна. — Но и злодеев среди них нет. Ни одного... Они не предавали меня и моих надежд. А насчет дарований? У них есть талант человечности. Разве вы не заметили?

— Заметил сегодня...

— К человечности талант художника может и не прилагаться, — продолжала она, — но к дарованию художника человечество...

— Это, безусловно, так! — перебил я Евдокию Савельевну ее же словами.

— Да... безусловно, так, — согласилась она.

Мы помолчали.

— А сын Мити Калягина тоже до утра не сообщал о себе... неожиданно произнес я. — Помните? Когда стоял под окном... У той девочки.

— Я не хотела бы вас огорчать. Но он позвонил из автомата домой... И предупредил. Это было так. Безусловно, так.

— Но Митя говорил...

— Он успокаивал Надежду Григорьевну.

— Понимаю.

Мне захотелось, чтобы она больше не видела во мне оппонента. Я и раньше-то возражал ей почти по инерции... желая все выяснить и понять.

— Я не знал, что вы скрывали у себя тех солдат.

— Их уже нет.

— Все же погибли?

— Просто умерли. От болезней... Война с недугами и несчастиями будет вечной. Иногда мы еще и сами убиваем друг друга. — Спохватившись, она сказала: — Я не Олю имела в виду. Все мы виноваты сегодня... Потом всплощилась еще сильнее: — Оля может принять всю вину на себя. Эта ноша окажется для нее непосильной!

Евдокия Савельевна громоздко заторопилась, покинула меня, догнала ребят. Я понял, что она решила разделить тяжесть ноши с моей дочерью.

Я побрел сзади.

«Мы с Надюшей боролись против «безумной Евдокии», за право строить... или, как говорится, формировать Олин характер, — размышлял я. — Мы победили. И эта победа стоила Надежны жизни. Или здоровья. «Безумная Евдокия»... Она приглашала на те знаменитые встречи не только героев, а и диспетчеров с поварами. Зачем? Наверно, хотела объяснить нашей дочери и ее одноклассникам, что, если они будут честными и порядочными людьми... просто честными и порядочными, они тоже будут иметь право на внимание к себе. И на память».

Детали... Только с их помощью я мог воссоздать картину. И они выплывали из прошлого мне навстречу.

«Спасибо ей!» — сказали мы, когда родилась Оля. Хотя жизнью рисковала Надюша.

«Вот, наверно, где был тот роковой поворот в нашей жизни! — подумал я. — Мы перестали глядеться друг в друга. Наши глаза устремились в ином направлении. «Родители Оленьки» — это стало нашей главной приметой и главной профессией. Я даже не заметил, что Надя уже не поет... и что я перестал писать свои фантастические рассказы. И о сердце Надином вспомнил только сегодня. А ведь название у ее болезни не совсем верное. Болезнь — это несчастье, а не порок. Порок сердца — нечто совсем иное, чего у Надюши никогда быть не могло. Если она вернется...»

Евдокия Савельевна остановилась. И другие остановились. Возле дома, где нам с Олей предстояло остаться вдвоем.



В ТЫЛУ, КАК В ТЫЛУ..

Тодны... Они — долгие, когда еще впереди, когда предстоит. Но если большая часть пути уже пройдена, они кажутся до того быстроходными, что с тревогой и грустью думаешь: «Неужели так мало осталось?»

Я не был в этом городе очень давно. Раньше приезжал часто, а потом... все дела, все дела.

На привокзальной площади я увидел те же осенние цветы в жестяных ведрах и те же светло-зеленые машины, подпоясанные черными шашечками. Как прошлый раз, как и всегда... Будто не уезжал.

— Куда вам? — туго, с напряжением включив счетчик, спросил таксист.

— В город, — ответил я.

И поехал к маме, у которой (так уж случилось!) не был около десяти лет.

ПОВЕСТЬ

Рисунок
О. КОКИНА



В октябре сорок первого мы шли с ней по этой привокзальной площади в темноте, проваливаясь в ямы и лужи.

Мама запретила мне притрагиваться к старомодному, тяжеленному сундуку: «Это не для тебя. Надорвешься!»

Как будто и во время войны одиннадцатилетний мог считаться ребенком.

В канун нашего отъезда всех предупредили, что взять с собой можно «только одно место». Мама выбрала сундук, оббитый железными лентами. В нем, согласно домашней легенде, когда-то хранилось прабабушкино приданое.

Приданого, видимо, было много, потому что сундук мне казался бездонным. За одну ручку ухватилась мама, а за вторую Николай Евдокимович. Своих вещей у него не было: за день до отъезда, когда Николай Евдокимович где-то дежурил, его дом разбомбили.

— Хорошо, что у меня нет семьи, — сказал он. — Вещи терять не так страшно.

Свободной рукой мама крепко держала меня за локоть, словно я мог вырваться и удрать.

— Смотрите под ноги! — предупреждал мужчина в брезентовом плаще с капюшоном. Промерзший голос нехотя вырывался из капюшона, как из рупора, и стеснялся своей заботливости.

Николай Евдокимович попросил маму остановиться. Он опустил сундук на доски, сложенные посреди дороги.

Кто-то, шедший сзади, наткнулся на нас и глухо, неразборчиво выругался.

— Простите,— сказал Николай Евдокимович.— Но-га разболелась. Если не возражаете...

И присел на сундук. При маме он не мог сознаться, что просто устал.

Он любил маму. Это знали все.

— Ее красота слишком заметна,— постоянно говорил мне отец. И обязательно при этом вздыхал.

Ему хотелось, чтобы мамину красоту никто на свете не замечал. А прежде всего, чтоб о ней забыл Николай Евдокимович.

— Поверь, Алеша, я к нему не питаю никаких... таких чувств,— объясняла мама.— Хочешь, поклонись? Своим будущим и даже твоим!

Мое будущее она оставляла в покое.

— Я к нему ничего не испытываю,— настойчиво убеждала она отца.

— Но он испытывает к тебе. А это, пойми...

— И что же? Бросить его на произвол судьбы? — спросила она однажды.

И резко встала, как бы приняв окончательное решение. Она часто после негромкого разговора так вот вставала, давая понять, что ее аргументы исчерпаны. Голос менялся, становился сухим, словно река, потерявшая свои теплые, добрые воды и обнажившая вдруг каменное дно.

— Ты умеешь укротить даже сварщиков и проваров. Куда уж мне, интеллигенту-биологу? Я сдаюсь! — а другой раз воскликнул отец. И поднимал руки вверх.

Такие разговоры возникали у нас дома нередко. Во время одного из них мама сказала отцу:

— Николая в институте звали Подкидывшем.

— А где тебе подкинули его?

— Там и подкинули: в нашем строительном. Зачем ты спрашиваешь о том, что давно уж известно?

Мама резко поднялась.

— К сожалению, меня в ваш строительный никто не подкинул,— печально сказал отец.

Он ревновал маму к прошлому. Как, впрочем, и к настоящему, и к грядущему тоже:

— Когда-нибудь ты покинешь меня.

— А о нем ты забыл?

Мама кивнула в мою сторону.

— Ну, если... только ради него... Это слабое утешение.

— В какие дебри мы с тобой забрели! И все из-за Подкидывша. Из-за этого безобидного князя Мышкина,— возмущалась мама.

Князь Мышкин, Подкидывш... Это должно было убедить отца, что он — в полной безопасности.

С тех пор отец стал называть Николая Евдокимовича только Подкидывшем, слово прекратил думать о нем всерьез.

Он был выше Подкидывша минимум на полголовы, а то и на целых три четверти. Не говорил по десять раз в день: «Если не возражаете...» И все же шуплого Николая Евдокимовича, близорукого, в очках с толстыми стеклами, отца, я видел, продолжал опасаться. С моей точки зрения, это было необъяснимо. Еще и потому, что мама, хоть ее и называли красавицей, представлялась мне в ту пору абсолютной пожилой женщиной: ей было уже тридцать семь лет!

На мой взгляд, Подкидывш не мог быть угрозой для нашей семьи. «Ну, какая любовь в этом возрасте? — рассуждал я.— Вот у нас, в четвертом классе... Это другое дело!»

Отец думал иначе... Если Николай Евдокимович приглашал маму на вальс, он говорил:

— Она, к сожалению, очень устала.

— Я полна сил и энергии! — заявляла мама. И шла танцевать.

Она привыкла стоять на своем не только потому, что была красивой, а и потому, что работала на-

чальником стройконторы: ей действительно подчинялись сварщики и провары.

— Твои про-роби! — говорил отец, делая ударение на последнем слове.

Если Подкидывш обнаруживал, что у него «чек» раз три билета в кино: отец вспоминал, что в этот вечер они с мамой приглашены в гости.

— Меня никто не приглашал! — возражала мама. Она всегда говорила правду. «Рубила», как оценивал это отец.

А честность тоже разная бывает.

И если доброты ей не хватает...

Отец начал как-то цитировать эти стихи, но запнулся.

— Честность есть честность! — ответила мама.

И резко встала.

— Я не щадила тебя,— тихо сказала она, когда отец собирался по повестке на сборный пункт. Или, вернее сказать, на войну.— Я не щадила тебя... Прости уж, Алешенька. Но ты всегда мог быть абсолютно спокоен. Я пыталась воспитывать тебя... Это глупо. С близкими надо находить общий язык. Вот что глупое... Ты простишь меня?

— Да, конечно,— ответил отец.— А Подкидывш поедет в одном эшелоне с тобой и Димой?

То, что мы уедем, уже было известно. Но когда— никто точно не знал.

— Хочешь, мы поедем в другом эшелоне? — сказала мама.

Я чувствовал, что она никогда больше не станет резко подниматься с дивана и разговаривать с отцом голосом начальника стройконторы.

— А если другого эшелона не будет? — ответил отец.— Неужели ты думаешь, что я могу рисковать... зам? — Он так сказал. Но мне показалось, что он все же боится нашей поездки в одном эшелоне с Подкидывшем гораздо больше, чем идти на войну. Войны он вообще не боялся.

— Обещай мне, что ты будешь спокоен. За нас... За меня! — умоляла мама.— И пиши... Каждый день нам пиши. Не представляешь, как мы любим тебя!

— А ты?

Для отца мамина любовь всегда была дороже моей. Я знал это. И мне не было обидно. Ничуть... Прощаясь во дворе школы медицинских сестер, где был сборный пункт, отец тихо спросил маму:

— И вагон у вас с ним... один?

— Мы поедем в теллушках. На нарах,— ответила мама.— Если хочешь, будем в разных теллушках. Только бы ты не думал... Ни одной секунды! До конца войны... До конца нашей жизни.

Она зарыдала. Я тоже заплакал.

— Ну, что вы? Я скоро вернусь... — как и все вокруг, обещал нам отец. Это было седьмое августа — и пусть Подкидывш вам поможет. Рядом должны быть близкие люди!

— Ты можешь быть абсолютно спокоен! — почти крикнула мама.— Клянусь всем на свете. Даже его о будущим!

И прижала меня к себе.

Я знал, что хорошее начинаешь гораздо острее ценить, когда оно от тебя уходит. И что наши приобретения становятся в тысячу раз дороже, когда превращаются в наши потери или в сожаления. Эта истина казалась мне раньше лежащей на поверхности, а значит, не очень мудрой.

Но, качаясь на нарах, под потолком, где было много времени для размышлений, я понял, что первым признаком мудрой мысли является ее точность: все, что недавно было обидным и привычным, стало казаться мне нереальным, невозвратимым. А неприятности и заботы, так волновавшие меня прежде, я не разглядел бы теперь ни в один микроскоп.

Я с нежностью вспоминал о нашем учителе физкультуры, который ничего, кроме тройки с минусом, мне никогда не ставил, и о соседях, которые говорили, что я слишком громко хлопаю дверью и вообще ни с кем не считаюсь. «Ценишь, когда те-ряешь» — эту истину война все упрямей, с жестокой пра-мелинностью вдавливала мне в сердце и в голову.

Отец заранее объяснил, какие нас с мамой встре-тит на Урале флора и фауна; он был биологом. Но нас встречал лишь низкорослый, неестественно ши-рокоплечий человек, казавшийся квадратом, завер-нутом в брезентовый плащ с капюшоном. Из капю-шона до нас донеслось хриплое сообщение о том, что «машин сколько есть, столько есть, а больше не будет».

Мои прежние путешествия в поездах всегда были праздником. «Гарантия возврата» — вот что было самым приятным в пути! — понимал я потом, через много лет.

— Что с Москвой? — раздался в темноте голос Николая Евдокимовича. Мы прошлепали по лужам еще несколько шагов. — Неужели все-таки...

— Этого не будет! — Мама остановилась, словно, как прежде, резко поднялась со стула.

И пошла дальше. Мы тоже пошли.

— Я уверен... Я абсолютно уверен! Но мы целый день не слышали сводки Информбюро.

На каждой станции Подкидывы вырыгивал из ва-гона на шпалы, на мокрую землю и бежал к газет-ному киоску или к громкоговорятелю, если киоска не было. Узнав, что «после упорных боев наши войска оставили» какой-нибудь город, он сообщал об этом только в том случае, если его спрашивали. И то очень тихо.

И поглядывал с опаской туда, где лежали на на-рах мы с мамой: не толкнул нас расстраивать.

Никто не объявлял заранее, долгой ли будет о-станковка, никто не знал, когда туло ударятся друг о друга, заскрежещут чугунные буфера, а мы тронем-ся дальше.

— Останется... Где-нибудь он останется! — беспло-коила мама. И я этого тоже очень боялся.

В течение двух недель, проведенных в пути, мы с мамой выходили только на перроны больших го-родов. Она не выпускала мою руку ни на мгнове-ние. Мы искали бывшие вокзальные рестораны, что-бы по талончикам получить там полхлебу и кусок хлеба.

«Потерять, оставить, остаться...» — война со всех сторон окружала нас этой опасностью. Но больше всего мама страшилась расстаться со мной. Она даже объяснила, что, поскольку мне всего лишь один-надесят лет, я вполне могу ходить вместе с ней в туалет. Я воспротивился... И она стала отпускать меня туда на больших станциях с Николаем Евдоки-мовичем.

Если мы с ним задерживались, она, чуть приот-крыв дверь и глядя куда-то в сторону, испуганно вопрошала:

— Вы там?

Он отвечал:

— Мы здесь!

«Да... какая может быть любовь в этой возрас-те!» — утверждался я в своей давней мысли.

Квадратный человек прохрипел из капюшона, точно из рупора:

— Побойтесь шевелиться! Машины не будут ждать.

Мама покрепче сжала мой локоть.

Деять или десять крытых машин стояли на краю площадки. Они сгрудились, как стадо молчаливых животных, пришедшее на водопой.

— Плотнотей утрамбовывайтесь, товарищи! — скомандовал капюшон.

Подкидыв протянул маме руку из глубины кры-того кузова, но она вначале подсадила меня.

А за нами вскарабкались и «утрамбовывались» все новые и новые пассажиры из шезлона.

На нарах в теплушке головос почти не было слышно. Не из-за стука колес, а потому, что рас-тянутость и неизвестность как бы сковали людей. И в кузове грузовика было напряженно от ти-шины.

— Осторожней, здесь мальчик! — предупредила мама.

Ей не возразили. Но и учесть ее просьбу никто не мог. Меня сжимали и «утрамбовывали» «на об-щих правах»: мест для пассажиров с детьми з кры-той машине не было.

Я подумал, что нужно будет вообще забыть о своем возрасте. Взять и забыть...

3

Н о мама не хотела, чтобы я забывал. В холодном берке, который обо-гревался еле мерцавшими лампочка-ми, она превратила наш шезлонг в стол и сказала:

— Здесь ты будешь делать уроки! — Сказала властным голосом начальница стройкон-торы, потому что меня нужно было встряхнуть и убедить, что все продолжается.

«Комнаты» отделялись одна от другой простыня-ми, бывшими скатертями или портьерами, прикре-пленными к веревкам, как выстиранное белье.

Мама узнала, где наскладится школа, и повела меня туда сразу же, на рассвете следующего дня.

— Ты и так уж отстал от класса! — с упреком сказала она. Будто я отдыхал где-нибудь в пионер-лагере или наслаждался выдуманными болезнями, как это бывало в мирное время.

Наше новое местожительство было на берегу уральской реки, названия которой я раньше не знал.

Оборонный завод напоминал целлюлозный орга-низм, атакуемый перегрузками, но не ослабевший: его сердцебиение было слышно всему городу днем и ночью. Вместо кислорода он вбирал в себя электроэнергию, а выдыхал пар и дым. Ему некогда было думать о своем внешнем виде: одежда выце-ла, поизносилась.

Мощность этого организма строители должны бы-ли увеличить во много раз и в немисленно короткие сроки. Завод окружали дома из некогда красного, закопченного кирпича; вросшие в мокрую грязь од-ноэтажные баракки; клуб, называвшийся Домом культуры, и школа, где учились в три смены.

На школе висел плакат «В тылу, как на фронте!».

— Ты понял? — спросила мама. — Хотя впереди-то я не люблю этого лозунга: все-таки фронт — это фронт, а тыл — это тыл.

— Но всюду пикут... — попробовал возразить я.

— Мы в отличие от отца, — тоном начальника стройконторы перебила мама, — прибыли в зону безопасности. Чтобы ты мог учиться. В том числе и

для этого... Ты лопял? Мне некогда будет напоминать.

Маме стало некогда уже с двенадцати часов дня. Ее вызвали в стройуправление и назначили инженером-руководителем по комплектации и восстановлению оборудования. Название мамини должности было таким длинным, что я испуганно спросил:

— А что это значит?

— Ничего страшного,— ответила мама.— Приходят шшелны с оборудованием. Надо пристроить его в старых цехах или под навесом, пока не построят новые.

— Каторжная работа,— раздался мужской голос из-за старого, обшлепанного ковра с озером и двумя лебедями, отделявшего нас от соседей.

— А вы были на каторге?— спросила мама.

— Пока что не приходилось.

— Откуда же вам известно?

Мама не любила паниковать.

— Да уж знаю!— монотонно настаивал голос из-за озера с лебедями.— Правда, дают кое-что пожевать за вредность производства.

— Вот видишь,— сказала мама.— Во всем есть свои светлые стороны.

Она их по крайней мере умела отыскивать.

— Я буду редко бывать дома,— сказала она через несколько дней.— Шшелны приходят один за другим. Так что приглашай в гости товарищей. Или товарища... Чтoб не соскучиться.

У нее самой был один только друг. Тот, которого я «подкинул» в строительном институте.

— Его и здесь подбросили в мою группу,— сообщила мне мама.

— На каторжную работу? Разве он выдержит?

— Мы с вами — в зоне полной безопасности: спим в постели, нас не бомбят. В тылу, как в тылу!— ответила она.

— Я хотел сказать... что Подкидыш очень худой.

— А в окопах только богатыри!

Мама вынула из сумки котлеты, завернутые в местную многотиражку: бумагу достать было трудно.

— Вот видишь, дополнительное питание. За вредность производства. Грех жаловаться!

Как и хотела мама, у меня появился приятель: Олег по прозвищу «Многодетный брат». У него было две младших сестры. Последняя родилась двадцать второго июня, за год до начала войны.

— Умудрилась!— сказал Олег.— Попробуй теперь порадоваться в день ее появления на свет...

«Многодетный брат» бегал за «детским питанием», которое, как он говорил, в мирное время и взрослые не стали бы есть.

— Но организм ко всему приспосабливается,— объяснил мой новый приятель.

Олег был старше меня на полтора года.

— В вашем возрасте это много!— уверял Николай Евдокимович.— Вспомни Толстого! «Детство», «Отрочество», «Юность» — так он назвал свою трилогию. Речь идет о разных эпохах человеческой жизни. Если не возражаешь...

Но никакие эпохи нас с Олегом не разделяли. Когда я сказал об этом Подкидышу, он задумался:

— Война вообще объединила людей... хотя вроде бы их разлучила.

...Олегу трудно было делать уроки дома.

— Сестры плачут дуэтом.

— Как же ты спишь?

— Организм ко всему привыкает.

Он приходил заниматься ко мне. Но прежде чем сесть за учебники, говорил:

— Я тут немного...

И подметал нашу «комнату», укреплял на веревках «озеро с лебедями», что-нибудь мне пришивал. Две сестры приучили его к труду.

Олег выглядел не просто худым, а до крайности истощенным. Поэтому нос и глаза особенно выделялись. Узнав, что отец мой биолог, а раньше преподавал анатомию, Олег сказал:

— Я вполне мог бы стать для него экспонатом!

Он любил подшучивать над своей худобой.

Отец его через двадцать дней после начала войны потерял левую руку и теперь работал в редакции той самой строительной многотиражки, в которую мама заворачивала котлеты.

Дома у них была пишущая машинка. Это произвело на меня сильное впечатление.

— Выдали под расписку,— сказал Олег.— Сестры под нее засыпают. Отец начнет печатать правой рукой — и они умоляют. Кольбельная песня! Иногда я помогаю отцу.

— Ты и печатать умеешь?

— А что ж тут такого!



Я торопился к маме. Она очень ждала меня. Это я знал...

И мое нетерпение тоже было таким напряженным, что я бессознательно, не отдавая себе в этом отчета, как бы оттягивал встречу. По пути я решил задержаться возле дома, где жил Олег.

Таксист был рассержен непредвиденной остановкой. А когда я вышел из машины и направился к дому, он проводил меня взглядом, полным сомнения: приду ли обратно? Не сбегу ли, не расплатившись?

Чтобы успокоить его, я вернулся и как задаток положил на заднее сиденье букет, купленный для мамы на привокзальном базаре.

Потом я вошел в парадное. Все было так же... Только стены покрасили в другой цвет.

Подниматься на третий этаж я не стал: Олега и его родных там уже давно не было. Они уехали к себе домой, в Белоруссию. Мы переписывались...

Я вернулся к машине. И едва успел хлопнуть дверцей, как таксист резко рванул с места. Так он выразил свое недовольство.

Я бы мог объяснить таксисту, что хочу хоть на время вернуть свое прошлое. Но вид его не располагал к откровенности.

В первое же утро после приезда, по дороге в школу, мы с мамой забежали на почту. Отец должен был писать до востребования. Так мы условились.

— Я чувствую: нас будет ждать письма! — все четырнадцать дней в шепеле говорила мне мама, без конца перечитывая те письма, которые мы успели получить от отца в Москве.

На почте ничего не было.

— Теперь мы с тобой так и будем жить: от письма до письма,— грустно сказала она.—Надо привыкать. Что тут поделаешь!

Она попросила, чтобы мне выдавали «корреспонденцию», которая будет приходить на ее имя. Мама собиралась, я понял, пропадать на стройке целыми сутками, а почта работала лишь до шести часов.

Когда мы вышли на улицу, мама спросила:

— Тебе кажется, я часто огорчала его?

Я не знал, что ответить. Тогда она продолжала: — Сейчас страшны только те раны, которые может получить... И они получал прежде. От меня, например... Только те раны опасны. А мы с тобой неплохо устроились.

— Хорошо, что он может быть... абсолютно спокоен... машинально повторил я то, что слышал от нее во дворе училища медсестер, где мы с отцом расставались.

— Спокоен? Разве там, где он... бывает спокойствие? Ты вообще представляешь, что там происходит?

— Представляю.

— Это невозможно себе представить! — Мама резко остановилась, будто демонстративно поднималась с дивана или со стула, как это бывало раньше. — Каждый день заходи на почту. Каждый день! Я должна знать, есть письмо или нет.

— Я буду заходить. Обязательно!

— Она пошла дальше.

— Я всегда знала, что перенести самую тяжкую болезнь легче, чем переживать болезнь ближнего. Но я не представляла, что это такое — беспрерывное ожидание беды. Теперь нельзя давать себе отдышку... ни на минуту!

— Ни на минуту!

— Чтоб некогда было сходить с ума... — Она вынула из сумочки фотографию, где отец был совсем молодым и веселым... Он всегда был беззащитной для меня. Так казалось в будничной жизни. Мужчины берут на себя самые страшные тяготы века, а зубной боли они боятся. Это известно. Я обязана быть... рядом с ним... Пусть даже здесь!

— И я тоже.

— Нет... Ты ребенок! Мы идем с тобой в школу. Прямо сейчас! Никто не может лишить тебя этого. Детство не повторится.

— И старость не повторится...

— Хватит с нее одного раза! А перед Алешей я все-таки виновата.

— В чем?

— Сильнее, чем я люблю его... особенно вот сейчас, любить, мне кажется, невозможно. Он не узнал этого.

— А меня? — тихо и бестактно полюбопытствовал я.

— Это другое. Материнство... выше любви.

Я успокоился.

— Мне всегда хотелось доказать ему... Дать почувствовать... тихо и виновато продолжала она... Но я не спешила. Из воспитательных целей. Какая нелепость! Лучше поздно, чем никогда? Нет уж, Дима... С добром надо спешить, а то оно может остаться без адресата. Ты согласен?

— Согласен.

— Если это случится, я не прощу себе. Нет, не то... Я просто не вынесу.

Она протянула конверт без марки.

Я сразу, не отходя от окошка, разорвал конверт. Вынул листок, на котором было что-то напечатано типографским шрифтом. Только имя, отчество и фамилия отца были написаны чернилами, от руки. Я прочитал раза три или четыре спокойно. И только с пятого раза понял, что мой отец пропал без вести.

На улице ждал Олег. Я выбежал с белым листком в руке. Олег прочитал... Нос его сморщился, словно от внезапного света, глаза стали еще больше, круглее. У него было две младших сестры, и он умел утешать.

— Пропал? Это слово имеет несколько значений. Ты вспомни... «Пропал» в смысле погиб тут не подходит. Здесь другое значение: он исчез, о нем ничего не знают. И все...

Как старший брат, он умел атолковывать, объяснять.

— А если погиб... так и пишут: «погиб» — спросил я.

— Так и пишут. Это называется похоронкой. А тут — извещение. Неприятное, конечно. Не буду тебя обманывать...

Я знал, что даже родителей он никогда не обманывал.

Взяв у Олега листок, я опять впился глазами в строчки и твердо, до конца осознав, что отца моего уже нет. Совсем нет... навсегда...

Я не заплакал. Но понял, что это значит «не находить себе мест». Вернулся на почту, спросил у болезненной девушки, когда пришло это письмо.

— Сегодня, — ответила она. — Ты же вчера заходил.

Потом я, забыв об Олеге, помчался на стройку.

— Ты куда? — услышал я сзади его голос.

— К маме.

— Зачем?

— Показать...

— Да ты что!

Мы оба остановились. «Я просто не вынесу», — тогда, возле почты, сказала мне мама. Как можно было это забыть!

— Что же делать? — спросил я Олега.

— А где твой портфель?

Портфеля действительно не было.

— Оставил на почте. Возле окошка...

Мы побежали обратно. Портфель уже был за стеклом, на столе у болезненной девушки.

— Ты что-нибудь такое... получил! — спросила она.

В ответ я ничего не смог выговорить.

— Отец пропал без вести... объяснил ей Олег... Не пойми... а просто нету вестей. Это же разные вещи.

— Вероятно, — сказала она. — Я не могу здесь больше работать...

И закрыла глаза болезненно белыми пальцами с припухшими гнилами на суставах.

Я вспомнил пальцы отца. Он часто, сидя за столом, перебирал лечебные травы, которые сам же выращивал. Травы были высохшие, напоминавшие сено, а пальцы у отца загорелые, крепкие, но осторожные. Мне чудилось, он боится, что с трав осыпается что-то нужное и они потеряют свою целебность.

Отец был нежным, застенчивым человеком. «Ленинградская интеллигентность» — пояснил Николай Евдокимович, хотя сам был закоренелым и отчаянным москвичом.

Отец любил лес, но еще больше — поля и луга. «Высокая, густая трава — это здоровье», — говорил он. — Это символ простора и жизни!

5

Через двадцать дней, когда я зашел на почту, где меня уже знали, бледная девушка в окошке на миг ожидалась и сказала:

— Сегодня вам есть...

Она перебрала несколько писем пальцами, которые казались очень тонкими из-за припухших суставов. Было холодно, почти как на улице. Руки у девушки, конечно, замерзли, но не покраснели, как мои, а были прозрачными, обескровленными.

И жизни...
— Ты не пройдайся с отцом,— угадав мои мысли, сказал сзади Олег.— Пойдем.
Мы вышли на улицу.
— Дай мне конверт,— попросил он.
Я протянул.
Он аккуратно вложил в конверт листок с извещением. И так же неторопливо, обстоятельно отвел ему место в своем портфеле.
— Пусть будет у меня. А то мать нейдет.
Я вновь затопал вверх по ступеням почтового отделения и заглянул в полукруглое окошко.
— Только маме не говорите, что было письмо. Если она зайдет...— попросил я девушку, которая все еще не отрывала рук от лица.
На почте никого не было, потому что весь город в это время работал.
— Олег говорит, что отец... еще может найтись...
— Не могу я здесь больше работать,— ответила девушка, должно быть, не веря Олегу.



— На две минуты... Остановитесь, пожалуйста,— опять попросил я таксиста.
Он тормознул так, что я ткнулся в его спину.
Почта была все там же. И из того же окошка выдавали корреспонденцию до востребования. Человек пять стояли в ожидании. Но на их лицах не было нетерпеливой тревоги.
Я издала заглянул в окошко. Конверты перебирала девушка, на которую стоявшие в очереди мужчины поглядывали с интересом. Она стоила этого.
Таксист снова рванул, будто участвовал в мотогонках и ему только что был дан старт.

6

Мама приходила с работы поздно вечером. А то и ночью. А то и под утро... Приподнимала почтительно, отделив нашу жилую от коридора. Другой нашей «стенкой» был старый, обшлепанный ковер... Мама входила беззвучно, но я просыпалась. Задавала мне несколько главных вопросов... Прежде чем шепотом рассказать о своих делах, она открывала разбуженную сумку, набитую бумагами и чертежами. Вытаскивала со дня еду, завернутую в газету, и протягивала ее мне. В сумке обязательно стояла бутылка молока, которая тоже полагалась маме «за вредность». Сидя на матрасе, я ел хлеб с котлетой и заливал молоком.
— Так поздно ужинать вредно,— говорила мне мама.— Но война все поставила вверх ногами.
— А ты-то поела?
— Конечно,— отвечала она.
И наспех рассказывала, как ей удалось найти очередное «уютное местечко» для каких-нибудь многотонных «деталей», прибывших издалека. Говорила она еле слышно, но по ту сторону «зоны с лебедями» обязательно кто-нибудь переворачивался и вздыхал.
— Все надо принять, выгрузить, рассортировать. Уберечь от дождя и снега,— шептала мне мама, готовясь хоть немножко поспать.

Усталой она не выглядела. Даже волосы накручивала на свернутые бумажки и смазывала лицо вазелином:
— Обветритесь... За собою надо следить. А то вернется отец — не узнает!
Нередко она объясняла мне, как важно соблюдать технику безопасности.

— Торопиться, не соблюдать! Если бы это правило существовало там, где отец...
Я в такие минуты закрывал лицо одеялом или говорил, что мне необходимо на минутку во двор. Каждый раз прямо с порога мама спрашивала:
— На почте был?
— Был.
— Ничего нет?
— Пока нет.

Когда она возвращалась домой пораньше, к нам из другого конца барака заходил Николай Евдокимович.

Мы с ним в два голоса объясняли, что письмо могло затеряться, что путь от фронта до Урала очень далек.

Даже Подкидыву я об извещении не рассказывал — это было нашей с Олегом тайной. И еще тайной той болезненной девушки, которая все хотела покинуть свое окошко.

На стройке Николай Евдокимович очень старался облегчить мамину участь.

— Воздухосборники мы с ним комплектуем. И насосы,— шептала мне ночью мама.

— Какие насосы?
— Которые в этом бараке едва ли поместятся. Молоко свое предлагает... А зачем мне? Чтобы стариться, чтобы толстеть? Отец варнётся — и из узнает! Мы, женщины, куда выносливей, чем мужчины... Я вот ни разу в жизни не была у зубного врача! — Мама свернула улыбку, про которую соседи в Москве говорили, что она «как у Любова Орлова». Мужчинам нужно гораздо больше калорий! Наверно, она имела в виду и меня.

7

Николай Евдокимовича мамз «подкинули», когда он был уже в зрелом возрасте. Много лет он работал на незаконченное высшее образование.

— Я не хотел закончить жизни с незаконченным образованием,— говорил Подкидыву — и в тридцать пять лет поступил на четвертый курс.

Там он встретил маму, которая была моложе его почти на тринадцать лет. Поэтому, я думаю, она называла Подкидыва на «вы». Он в ответ называл ее так же. Отец и по этой причине поглядывал на них с подозрением.

— Почему он не закончил институт в молодости? — спросил я однажды. — Плохо учился?

— Ты можешь представить себе, что он плохо учился?! — оскорбился за Подкидыва мамз. У него были тяжелобольные родители: он содержал семью. Тебе это трудно понять.

Своих «стариков» Подкидыв любил беззаветно. Случилось, что оба они были прикованы к постели в течение долгих лет. В их семье все друг за друга болели. Так было в буквальном смысле: когда отца разбил паралич, мать не вынесла горя, и сердечные приступы уже не покидали ее. Врачи и лекарства как бы прописались в семье Елизаровых... Из-за этого Николай Евдокимович не женился. А потом он встретил маму и остался холостяком навсегда.

— Именно любовь сделала его вечным холостяком... Это выглядит старомодной историей, — при мне сказала мама наша соседка. Она думала, что я, в то время еще первокурсник, ничего не пойму, взрослые нередко на этот счет ошибаются.

— Не называй старомодным то, что тебе недоступно,— ответила мамз. — Мы часто смешиваем со-



ременность с самими собой. А рыцарство, учти, всегда современно!

Значит, она считала Подкидыша рыцарем... Он им и был.

Его родителей похоронили на Ваганьковском кладбище.

— И мое место там,— говорил Николай Евдокимович, будто поскорей достигнуть этого места было его мечтой.— Только там... Других пунктов в моем завещании не будет.

Больше всего на свете Подкидыш любил Москву. А потом — мою маму.

Он знал все арбатские переулки, в одном из которых был и наш дом. Он мог безошибочно сообщить, у кого и на сколько дней останавливался Пушкин, где умер Гоголь, а где жили Внеситинов или Вяземский.

— Ты ходишь на лыжах по Гоголевскому бульвару? Не возражаешь, чтобы мы с тобой как-нибудь погуляли без лыж? Там, ближе к Кропоткинским воротам, есть такие саатины...

— А знаете, однажды зимой я лизнул бронзу на памятнике. Хотел попробовать снег!

— И язык остался на провозе?

— Лучшее он взял себе язык Гоголя, чем подарил ему свой! — заметила мама.

— И еще я катаюсь на этом бульваре с гор! — сообщил я Подкидышу.

— Горы!.. — грустно воскликнул он. — Когда-нибудь они покажутся тебе небольшим возвышением. Наши представления со временем так меняются!

— Почему вы говорите об этом с печалью? — спросила мама.

— «Печаль моя светла...» Она вызвана сожалением, что зрелость так точно определяет разницу между горой и холмом.

Пушкина он цитировал постоянно, считая, что поэт сказал все обо всем на свете.

— В моем возрасте это уже можно постигнуть! — утверждал Подкидыш.

Цитаты он очень естественно вплетал в свою речь, потому что они точно выражали и его собственные суждения.

На фронт Подкидыша не взяли главным образом из-за зрения. Стекла его роговых очков были такие толстые, что я никогда не мог определить, какого цвета у Николая Евдокимовича глаза. Видно было только, что они очень добрые.

Своего «белого билета» Подкидыш стыдился.

— У меня на медкомиссии обнаружили еще кучу болезней,— признался он мне.— Председатель сказал: «Практически у вас здоровы одни только уши». Не возражаешь против такого диагноза? Но Катюше не говори!

Маму он называл Катюшей.

— Не возражаешь, чтобы я и завтра заглянул к вам? — спрашивал он у мамы.

— Если мы вернемся с объекта раньше двенадцати ночи, пожалуйста!

— Значит, не возражаешь? А то, может быть, я наскукал; столько «сердца горестных замет», — сказал он, я помню.

— У меня «ума холодные наблюдения», поскольку мы должны принять завтра очередной шшелон. У вас «сердца горестные заметы». Получается искомое равновесие.

Назавтра они с мамой, как правило, возвращались позже двенадцати. И на второй и на третий день тоже... А через неделю мы вновь удавалось выкроить часа полтора. Я очень любил эти вечера, потому что мы вспоминали о Москве, о мирных годах, казавшихся нереальными, об отце...

Однажды утром, минут в пятнадцать седьмого, когда мама уже собиралась на работу, Подкидыш ворвался к нам без всякого предупреждения.

— Не возражаете? — И сразу вбежал.— Их разгромили под Москвой! Вы это предвидели, Катюша. И говорили об этом... Свершилось!

— А как вы узнали?

— По радио.

— Вдруг теперь... и письмо придет?

— Разумеется... Можно не сомневаться! И ты вставай,— тормошил меня интеллигентный Подкидыш.

А вечером мы собрались, чтобы отметить праздник.

Усталые, серые лица вроде бы оживились, и в бараке стало уютней. Мама всегда была гостеприимной хозяйкой. Если кто-нибудь приходил к нам в Москву неожиданно, без приглашения, она, появившись в коридоре пометственными слеза, из халата на кухне за голову, а говорила откровенно:

— Чем уж богаты...

Если у нас оказывался Подкидыш, духовное богатство семьи, естественно, увеличивалось. Он подробно сообщал о том, что раньше на месте какой-нибудь станции метро или дома, в котором жили наши незваные гости, и те были очень довольны. На стол мама выставляла все, что висело за форточкой, на крючок. И буфет он полностью очищал с таким видом, будто он полностью от краев переполненным. Она отдавала, делилась, но не отрывала от себя.

В тот вечер, в барак, мама предложила всем «объединить продовольственные запасы, откинуть бывшие скатерти, старые ковры и портьеры, разделявшие нас. Барак сразу сделался длинным, как разделявший туннель. Резали затвердевшие от холода буханки, казавшиеся ненастоящими, бутарфоски; покрывали хлебные куски таким тончайшим слоем масла, что сквозь него ясно просматривали цвет хлеба и все его поры.

Кто-то принес полбутылки спирта и разбавил его водой до такой степени, что остался лишь запах.

— «Друзья мои, прекрасен наш союз!» — воскликнул Подкидыш.— Это прозвучало слишком возвышенно, и я пригнул голову, уставился в пол, как бывает в театре, если на сцене происходит что-то неестественное, фальшивое.

Но в ответ все захолопало. И тогда мама сказала:

— За Москву! И чтобы наши мужья вернулись... — Посмотрела на женщин и успешно добивала: — Братья и сыновья тоже!

Мне стало страшно. Заныло в животе. Я скрикнул, присел на топчан. И тут перехватил пристальный взгляд Николая Евдокимовича. Он пробился даже сквозь толстые стекла очков.

8

На следующий день, когда я возвращался из школы, Подкидыш ждал меня возле барака. Он отлучился с объекта, что нелегко было сделать. Морозный и сухой воздух потрескивал, точно кто-то баловался деревянным игрушечным пистолетом. Вокруг лежал снег, серый от золы, которую ТЭЦ, работавшая, как и люди, взахлеб, через силу, выливали на город.

И снова толстые стекла очков, даже зашнурованные, показались мне увеличительными: Николай Евдокимович хотел проникнуть в глубь моей тайны.

— Он... убить?
— Нет... Я думаю, нет.
— Что было в письме?
— Откуда вы...
— Катюша ничего не узнает, — впервые в жизни перебил он меня. — Но сейчас не скрывай! Что с отцом?

— Пропал без вести.
— «И от суда зачатия нет...» — прошептал Николай Евдокимович.

— Слово «пропал» имеет в русском языке не одно значение, — начал я успокаивать его и себя.

Я озирался, прикрывал рот заштопанной, шершавой варежкой.

— Ты прав, — согласился Подкидыш. — Наверно, ты прав... «Пропал» близок к слову «потерялся», чем к слову «погиб». А тот, кто потерялся, может найтись. — Он взглянул на меня с надеждой.

— Как мы находим силы? — Подкидыш снял и протер очки. — Где мы находим?

— Организм приспосабливается.

— Вещь... Кроме сердца, — ответил он. Съежился и побежал на роботу.

«Но ведь мама может послать запрос, — подумал я вдруг. — И ей сообщить».

Она бы давно уж послала, но, как я догадывалась, просто боялась, предпочитала неведение. Могла, однако, не выдержать... В каком словаре искал бы я тогда утешительные определения слова «пропал»? Надо было предпринимать что-то срочное!

Вскоре ко мне пришел Олег делать уроки. Обычно он торопился, а на этот раз раскладывал тетради и учебники не спеша:

— Отец печатает на машинке — и сестры спят.

— Обе!

— Они все делают коллективно!

— А отец, значит, печатает?

В голову мне пришла неожиданная идея.

— Сотрудников всех призвали, — стал объяснять Олег. — Остался только отец с машинистой. Она печатать почти не умеет... Но у нее муж и сын на войну. Карточка получать надо! А печатает плохо. Я и то лучше... Приходится помогать отцу: ему одной рукой трудно.

— А мне ты поможешь?

Я взял Олега за плечи и повернул к себе лицом. Огромные глаза его еще больше расширились.

— Объясни, пожалуйста.

— Объясню... Только тихо!

☆☆☆

— Притормозите еще. Выходите я не буду. Издали посмотри... — поощала я тактику.

Барак, в котором мы жили, уже не было. На его месте был парк, который назывался Парком победы.

«Первую победу, — вспомнил я, — мы отмечали зимой сорок первого именно здесь».

Таксист нажал на газ, боясь, должно быть, что я передумаю и захочу прогуляться по парку.

9

Сестры Олга действительно засыпали под пишущую машинку. Под эту странную колыбельную песню: организм приспосабливается.

Они уместились на одной тахте, обнесенной со всех сторон аккуратными досками, как забором.

— Это я придумал, — сказал Олег. — А иначе за

ними не уследишь: расплзутся, свалятся — не утратишь».

Мать Олга тоже называлась «сестрой»: старшей медсестрой госпиталя, который был в трех километрах от города.

— Дома ночует два раза в неделю, — сообщил Олег.

— Взяла бы отпуск. Раз... дочерю маленькую.

— Мы уговаривали. Но у нее двух братьев убили.

— Так... быстро? — спросил я.

— Одного в августе, на Украине. А другого недавно, возле Калинина... Оба моложе ее. Раньше была старшей сестрой в семье, а теперь только в госпитале. Если бы не они, — Олег кивнул на тахту, обнесенную досками, — на фронт бы ушла.

— Тебя бы оставила?

— Я уже взрослый.

«Тот, кто должен отвечать за других, раньше взрослеет», — подумал я. Меня-то ведь мама считала ребенком.

— Брат ее, который погиб под Калинином, — продолжал Олег, — только что школу окончил. Непонятно, зачем учился. Готовил уроки, как мы с тобой. Мать, я боялся, а может сойдет. Была старшей сестрой! Понимаешь?

Глядя на него, на старшего «Многодетного брата», я понимал.

— Вам бы бабушек с дедушками на помощь!

— Они в Белоруссии остались. В деревне...

«Здесь мы родились, здесь мы и будем...» А твои?

— У мамы давно уже нету. А папыны в Ленинграде.

— И сам отец был... То есть, я хотел сказать, он тоже из Ленинграда?

— Подкидыш говорит, что «оттуда вся его потомственная интеллигентность».

Олег сел за машинку, медленно застучал — и сестры, которые уже были сонными, сразу затихли.

От имени командира воинской части мы сообщили Екатерине Андреевне Тихомировой, что муж ее, легко раненный, попал к партизанам, в такие места, откуда писать невозможно. И что, как только освободят Украину, сразу придет письмо...

Олег достал со дна ящика, из-под газет, конверт, полученный мною из рук болезненной девушки. Там он его хранил... Мы заменили листок с типографским текстом на тот, который пришел «от командира воинской части». И я спрятал конверт в портфель.

Потом явился отец Олга.

Ни осень, ни зима не смыли, не вывели дождем и морозом веснушки с его лица. А ушанка еле держалась на высоких, жестких волосах, словно на проволочных витках.

Движением левого плеча он ловко сбросил шинель без погон. Плечо как бы обрылось пустым рукавом, направленным за пояс гимнастерки.

«Повезло Олгу, — подумал я. — Отца его больше нигде не отправят...» Я сразу же устыдился этой мысли. Но она все равно осталась со мной.

Будто прочитав ее, Кузьма Петрович сказал:

— Зачем демобилизовали? Правую руку вполне можно заставить и за левую потрудиться. Научить и заставить!

Он не гордился своим пустым рукавом, а поглядывал на него со смущением.

Правая рука, чувствуя ответственность и за левую, не знала покоя. Она то приглаживала волосы, которые пригладить было немислимо, то пробегала по клавишам машинки, точно по клавишам баяна или аккордеона, то перелистывала толстый блокнот.

— Стройматериал для завтрашнего номера! Время такое, что людям беседовать некогда. На лету

ловлю факты, заказываю статьи и заметки. Привык уже!

— Организм приспосабливается,— в очередной раз произнес Олег.

— Мирное время в этом полностью убедить нас не может,— ответил Кузьма Петрович.— А война за шесть месяцев доказала, что человек может вынести все. Только зачем ему в се выносить?

В раннем детстве Олег называл отца «папой Кузей». Дома его и сейчас звали так.

— Радость может быть безграничной,— продолжал «папа Кузя»,— Я — за это! Но беда... Чтобы за можно было выдержать, перенести, возникает энергия родства. Какой еще не бывало... Между чужими людьми! Вы заметили? — Мы с Олегом кивнули.— Между прочим,— обратился ко мне «папа Кузя»,— Екатерина Андреевна твоя мать?

— Моя...

— Да что ты говоришь! Не представлял себе. Слышу: «Дима Тихомиров... Дима Тихомиров...», а спросишь, как зовут маму, все забываешь. Стало быть, ты ее сын? Хорошо. Я — за это!

— Вы ее знаете?

— Недавно о ней писали. Неужели не показала?

— Нет.

— Значит, не так написал.

— Что вы! Просто не любит она...

— Не любит? Но ты почитай. Я принесу этот номер.

Он говорил и двигался так стремительно, точно хотел доказать самому себе, что потеря левой руки на нем вовсе не отразилась.

— А о чем вы писали? — спросил я.

— Они с инженером Елизаровым...

— С Николаем Евдокимовичем!

— Именно с ними... Так вот, они вместе придумали, как подавать оборудование на рабочие места новым способом. Предложили передерживать деревянные краны, кое-где оловянные металлом.

— Деревянные? — воскликнул я, будто разбирался в передвижных кранах.

— Они уже соорудили один такой кран. Представляет: дерево вместо металла. Я — за это! Решить проблему. И тихо, без шума.

— Не любят они...

— Не любят? Хорошо. Я — за это!

Правая рука его, не найдя себе дела, дважды стукнула по столу.

Пишущая машинка слегка подпрыгнула. Обе сестры проснулись, испугались и сразу заплакали.

10

Порядок детства из отягощения опытом и потоку в мыслях и действиях своих бывает до наивно должно породить только добро и причём сразу, незамедлительно.

Олег выступал на машинке письмо, которое доказывало, что мой отец не погиб... «Вот сейчас покажу его маме,— думал я по дороге домой,— и она успокоится». Вспыхнул я, забыв, что письмо это могло стать желанной вестью и облегчением лишь по сравнению с истиной, о которой мама не знала. В те далекие одиннадцать лет я любил мысленно ставить других на свое место и легко предсказывать таким образом чужие поступки, не сознавая, что на своем месте могу быть только я сам. Я скрывал от мамы извещение, пришедшее

из Москвы, но свой предстоящий разговор строил так, будто она, как и я, обо всем уже знала.

«...Легко раненный попал к партизанам, в такие места, откуда писать невозможно», — напечатал Олег. Это было радостно из-за слов «пропал без вести». Но ведь мама этих слов не читала.

Я завернул на почту. По-прежнему я заходил туда каждый день, и почти каждый день девушка с прозрачными пальцами говорила мне, что найдет другую работу. И еще повторяла: «Треугольные письма люблю, а конвертов... боюсь. Особенно если тонкие и со штампом. Почему именно я должна их вручать?»

— Война — время писем, — сказал однажды Подкидыш. — Она всех раскидала в стороны. И люди пишут друг другу, как никогда! Разлучает, объединяет... — медленно повторил он свою старую мысль про войну.

На почте никого не было: весь город в это время работал.

Увидев меня, девушка вскочила — и лицо ее исчезло из окошка, скрылось за непроницаемо-матовым стеклом. Но я заметил, что рука в окошке что-то схватила со стола. А потом девушка выбежала из-за перегородки прямо ко мне.

Треугольное письмо! — возбужденно кричала она на ходу, желая, чтоб я поскорей об этом услышал. — Треугольное... Значит, от него самого!

Я выхватил бумажный треугольник из ее тонких, ледяных пальцев. Торопливо развернул его... Шелк у девушки оставались такими же бледными, но глаза, казалось, в то мгновение их освещали.

«Уважаемая Екатерина Андреевна», — прочитал я. — Пишет вам фронтный друг вашего мужа Алексея Алексеевича Тихомирова. Он дал мне ваш адрес и просил, если что, сообщить. Вот я и выполняю... Муж ваш, Алексей Тихомиров, грозился сражаться с врагами и остался на поле боя...»

— Что с тобой? — услышал я голос девушки. — Что с тобой?!

Я вернулся к Олегу.

Кузьмы Петровича уже не было. Сестры возились за дощатым забором, окружавшим тахту. Олег читал... Нос его сморщился, как от яркого света.

— Думай о матери, — сказал он. И яркое не произнес ни одного слова.

Он хотел спрятать бумажный треугольник туда же, на дно ящика, под газеты. Но я возразил:

— Пусть будет со мной. Всегда... Если бы оплотнел подкладку и зашил его прямо внутрь, в куртку, а? Я только а ней хожу... Даже сплю, когда в ране не толп. Зашей... Ты умеешь.

Олег достал ножницы, нитки с иглой и молча, проворно выполнил мою просьбу.

Когда я стал натягивать шапку, он остановил меня:

— Матери все равно покажи то письмо... которое мы напечатали. И держись! — Он всматривался в мое лицо своими огромными, забывшими про детство глазами. — Я пойду вместе с тобой.

— А они? — кивнул я на двух сестер.

— Позову соседку. Она останется с ними... иногда, в крайних случаях.

«Биология — женское дело», — то ли в шутку, то ли серьезно говорил мне отец. Поэтому «мужским началом» в нашей семье он считал маму. И вдруг ее след исчезал. Тут же, на наших глазах. Она растерянно опустилась на сундук, заменивший нам стол. И стала беспомощно оглядываться, как бы прося защиты.



— Ничего еще не... — попытался сказать Подкидыш. Но замолчал.

Мама не перечитывала, а долго, бесконечно, как мне казалось, смотрела на бумагу, которую мы сочинили с Олегом.

Наконец она поднялась: взяла себя в руки.

— А где это письмо было целых полтора месяца? — спросила она.

— У меня, — ответил я.

— Мы вместе его получали, — заверил Олег.

Она изучила штемпель нашего города, перевернула конверт, чтобы найти штемпель отправителя. Он был московским.

— А почему же тут... — начала мама.

— Командир воинской части написал, наверно, в Москву, в наркомат обороны, — засеменил я словами. — А оттуда переслала, Ты же сообщила наш адрес.

Она осторожно уложила бумагу обратно в конверт.

— Я боялся тебе показать.

У меня заныло в животе. Я скрючился. Бумажный треугольник, зашитый в куртку, издал еле слышный, хрюстящий звук.

— Что-то мы сегодня в столовой съели, — объяснил всем Олег.

— Я ждала этого, — все еще с трудом овладевая словами, сказала мама. — Пока мы тут живем припеваючи, он, раненый... не в больнице, не в госпитале, а где-то в лесу. — Она помолчала, набралась сил. — Раньше, когда он заболел простудой с температурой тридцать семь и три, я укладывала его в постель. И при этом непременно посмеивалась над его мнительностью. Сама же укладывала и сама же посмеивалась... Зачем? Если бы можно было перед ним извиниться!

— Все вернется, — пообещал Николай Евдокимович.

— Легче восстановить завод, чем здоровье одного человека, — ответила мама. И обхватила руками голову: — В лесу... Без врачей, без лекарств...

— В партизанских отрядах есть врачи. Там делают операции, — напомнил Подкидыш.

— Иногда даже пилкой или кухонным ножом. Я читала в газете... Когда это касается других, восхищаешься, а когда близких людей — ужасаешься и страдаешь.

— Но вы же не возражаете против того, что в партизанские отряды доставляют, — снова начал Подкидыш.

— Из этого отряда, как вы заметили, даже нельзя писать, — перебила она. — Мы тут неплохо устроились, и нам очень легко рассуждать.

Николаю Евдокимовичу, и правда, убеждать ее было легче, чем нам с Олегом: он не видел бумажного треугольника и не знал, не мог себе представить... что отца уже нет.

— Будем ждать. Что нам еще остается? — сказала мама. И, заметив на краю стола-слондука белую бутылку, спросила: — А почему ты утром не пил молоко?

— Сейчас выпью. Может быть, и ты...

— Я сыта.

— Не возражаете, если я принесу свое? — предложил Николай Евдокимович.

— Зачем? — удивилась мама. — В партизанский отряд я не смогу его переправить. Так что пейте: мужчине нужно больше калорий.

Мама потеряла виски, села на стул, заменявший постель. А уши закрыла руками. Она не плакала. Просто ей не хотелось никого видеть и слышать. Мы потихоньку вышли.

Правая рука «папы Кузи» бегала по клавишам пишущей машинки, не нажимая на них.

— Нервничает, а молчит, — пожаловался Олег. — Не прощайся! Ну, чего он молчит? Надо разрядиться — и сразу бы полегчало. Ему и нам с сестрами.

— Они тоже чувствуют?

— Еще как! Даже маленькая реагирует очень нервно.

— Плачет?

— Гораздо хуже.

Я понял.

— Мама умрет его разряжать, — продолжал Олег. — Но у нее новая партия раненых: пять-звездочкой домой не приходит. Что у тебя случилось? — обратился он к «папе Кузю».

Тот с удивлением взглянул на него. Но ответил:

— Рука у меня одна, а ног пока две. И все же не поспеваю... Столько разных объектов! Расстояние километровое... Мало заказать горящий материал — надо его и забрать. А где же нынче курьеры?

— Поручи своей машинистке.

— Да белеет она...

«Папа Кузю» заметался по комнате.

— А если мы будем тебе помогать? — так же деловито, как он пришивал пуговицы, поинтересовался Олег.

— Что-что? — «Папа Кузю» нажал на клавиши, по которым в тот миг гуляла его рука.

— Будем ходить по объектам, которые не засекречены. Что тут такого?

Кузьма Петрович, размышляя, еще немного пометался по комнате.

— Ну что же... Выхода нет...

— Договорились, удовлетворенно сказал Олег.

— Что ты ликуешь? — набросился на него отец.

Вам нужно в Парке культуры на каруселях кружиться. А вы юноте, голодаете... Теперь вот будете ходить по морозу. Ты думаешь, я — за это? Уродства военного времени!

Он сел за машинку, взял бланк с красным названием газеты вверху и выстукал удостоверение. В нем было написано, что нам с Олегом доверяется исполнять обязанности курьеров.

После уроков мы с таинственными лицами, не позволяя себе улыбаться или шутить, шли на те объекты, которые не числились в «засекреченных».

Люди были так заняты и измучены, что у них не хватало сил удивляться. Увидев наше удостоверение, они спрашивали:

— Что нужно?

И, не отрываясь от чертежей или инструментов, говорили, к кому обратиться. Женщины устало сетовали, что мы в бутинках с галлошами, а не в валенках, Валенти выдала только там, кто работал «на свежем воздухе».

Воздух был не свежим, а таким плотно застывшим, что его было трудно вдыхать. На сером от зноя снегу валялись замерзшие воробьи. Люди меж тем клали кирпич, врубались в стены обтопными молотками, что-то измеряли и даже записывали оканчивающими пальцами.

«Все для фронта! Все для победы!» — читали мы на выцветшей, будто простиранной снегом и стужей материи или прямо на кирпиче. Но люди и так отдавали все...

Вначале нам нравилось выполнять поручения «папы Кузи». Но вскоре мы уже не делали таинствен-

ных лиц. От игры ничего не осталось. Мы еле достигаем до объектов. Заходим в конторы, чтобы попрыгать возле печурок. А потом без всякой гордости и возмущения предъявляли свой мандат. Однажды ветер был таким сильным, что навалился на нас, как нечто живое, тяжелое. Олег прятал лицо в воротник. А мой воротник был узеньким, и спрятавшись в него я не мог.

— Барежками закройся,— посоветовал мне Олег. Но я его не послушал.

— У тебя побелели щеки,— сказал он.— Надо тереть снегом.

Серая гарь скрипела и пачкала руки. Наконец я добрался до чистого снега. И испуганно, изо всех сил стал тереть щеки.

— Не надо так сильно,— сказал Олег.

Но уже было поздно. Из-под стертой кожи выступили коричневые пятна, кровоподтеки.

Таким мама увидела меня поздно вечером.

В прежние мирные времена она волновалась, если я задерживался во дворе или в кино. Или если приносил домой двойку. Но когда случалось нечто серьезное, она сразу брала себя в руки. На сей раз она с подернутым напряженным спокойствием прищурилась — и я понял, что вид у меня ужасный.

— Как раз вчера мне случайно принесли немного жира со шварками,— сказала мама.— Прораб с женой ездили в район и достали гуся. Для дочери. У нее сильное истощение... Шварки — для внутреннего употребления, а жиром я смажу тебе лицо.

В трудный момент у мамы почти всегда случался обнаруживался спасительный круг. Покрыв мои щеки аппетитно пахнущим жиром, она сказала:

— Я захватила из Москвы отцовские целебные травы. Два или три пакета... Буду заваривать, чтобы ты понемогнул пил. Это защищает от дистрофии.

— Но я ведь и так... съедая все, что тебе дают на работе за «редность».

— Ты растешь,— категорически заявила мама.— Закладывается фундамент здоровья. А мой фундамент был заложен в мирное время.

— Давай пить настой вместе,— предложил я.

— Травы мне противопоказаны. Ты разве не знаешь?

Ей всегда было противопоказано то, чего в доме у нас не хватало.

В тот же вечер к нам зашел Николай Евдокимович.

Он не умел брать себя в руки и с порога воскликнул:

— Кто тебя так?

— Мороз,— ответил я.

— Не возражаете, если я принесу вазелин? У меня есть две баночки.

— Я лечу его более дефицитным средством,— ответила мама.— Гусиный жир! А вазелин подарите мне: все же косметика!

Шварки она разделила поровну на две части и положила на хлеб.

— Я абсолютно... начал Подкидыш.

— Только не делайте вид, что это — постоянное меню военного времени!

— А вы сами?

— Мне жирное противопоказано с детства,— ответила мама.

Смущенно покончив со шварками, Подкидыш сказал мне:

— Тебе сейчас нельзя выходить на улицу.— Он с испугом разглядывал мои щеки.— Или надо закутываться. Если не возражаете, я принесу шерстяной

шарф, который мне много лет назад... связала мама. В день бомбежки он чудом оказался на мне. Раз такое несчастье...

— Какое несчастье? — подбадривая меня, удивилась мама.— А шарф принесите... На всякий случай. Впрочем, а как же... вы сами?

— У меня есть еще один... Спасибо, Катюша. Я буду рад этой возможности.

— Кстати,— сказала мама и погрузила руку в пакет, где хранились отцовские травы.— Здесь, на дне, я обнаружила немного грецких орехов. Когда-то люди ели орехи! Невозможно поверить.

Я достал молоток... Мы с Подкидышем колоти орехи, ядра которых напоминали маленькие полущенные головного мозга с лабиринтами замысловатых извилин. Так по крайней мере их изображали в учебниках.

Я протянул первое ядро маме.

— Разве ты не знаешь, что орехи я никогда не ем? — категорично, тоном начальника стройконторы сказала она.

Потом Подкидыш и мама стали обсуждать то, что они называли «забавным вариантом».

Мама боялась высоких слов, и если речь шла о чем-нибудь необычном и важном, она говорила: — Это забавно!

Забавность в данном случае состояла в том, что они придумали, как сгружать тяжелое оборудование «более легким способом»: с помощью тросов, лебедок, блоков и «других такелажных средств». Слушая их, я все торопливо и подробно записывал.

— Тише, Дима делает уроки,— предупредила Подкидыше мама.

Я не стал возражать. А после спросил:

— Можно об этом написать? В газете... Получится обмен опытом!

— Поднабрался ты всяких слов в журналистском семействе,— ответила мама.

— Если не возражаете... прежде, чем писать, надо проверить,— сказал Николай Евдокимович.

«Папа Кузя» был того же мнения, что и Подкидыш:

— Надо проверить! А вообще, перспективно... Сгружать с платформ многотонные грузы — сплошное мучение. Если они облегчат, я — за это! Но надо испытать, убедиться на практике.

— А та газета... с первой заметкой про маму и Николая Евдокимовича? — спросил я.

Он «развел» одну свою руку в сторону:

— Не нашел. Даже из подшивки выдрали. На курево, надо полагать. Трудно с бумагой.

— А с чем легко? — задумчиво произнес Олег.

12

В тот день прибыли платформы с «вращающимися печами».

— Как раз вовремя подоспели,— утробно сказала мама.— Новый цех подвели под крышу. Так что квартира готова!

Она смазала мне лицо вазелином: гусиный жир кончился. Проследила, чтобы я съел котлету, которая только по старой привычке называлась мясной, и запил ее настоем из отцовских целебных трав.

— Тебе нельзя заболеть дистрофией,— настойчиво и спокойно повторила она.— Пойми: закладывается фундамент!

Потом она закутала меня в шарф, который когда-

то связала для своего сына мать Николая Евдокимовича. Мама по-прежнему старалась, чтобы я из испытаний тягот военного времени. Или испытывал их поменьше... Она и валенки мне раздобыла, которые я должен был натягивать рано утром, пока она не ушла на работу.

— Хочу убедиться... Не хватает еще обморозить и ноги! — сказала она в тот день.

Мама внимательно оглядела меня напоследок, словно объект, подготовленный к сдаче. И побежала готовиться к встрече платформ с печами.

А я через полчаса отправился в школу. Накануне где-то прорвало трубы, и мы занимались в шапках, в пальто. А я еще и в огромном шарфе, оставшемся на виду только нос и глаза. Конечно, в классе я мог бы и снять этот шарф, но тогда бы меня наверняка вызвали отвечать. Учителя уже давно меня не тревожили: я находился как бы «на излечении».

С последних уроков нас сняли и послали на рачистку подвездных путей. Для платформ с теми самыми печами, которые умели «варчатся».

Нас часто посылали на такие работы. И хотя орудовали на морозе лопатами и скребками было нелегко, мы радовались: во-первых, приобрелись к взрослому делу, а во-вторых, срысались уроки. Мы одержимо стремились к взрослости, но оставались детьми.

Чтобы получить от Кузьмы Петровича очередное задание, мы пошли потом к Олегу дояр.

Его мама только что проснулась после многосутного дежурства.

Она была очень полной. «Последствия родов...» — объяснил мне Олег. Но делала все четко, без лишних движений, будто подавала инструменты хирургу во время операции.

Комната была завешана детскими рубашонками и трусиками. Пахло стиркой и чистотой.

Вера Дмитриевна встала, подсыпала в уют горячих углей, деловито ощупала белье, сняла его с веревки. Затем дотронулась мокрым пальцем до металлического днища утюга, напоминавшего переднюю часть игрушечного корабля. Уют зашипел, и она принялась гладить.

— Ты отдохнула? — спросил Олег.

— Чуть-чуть вздремнула. И хватил! — Она обратилась ко мне: — Чем сильнее устаю, тем больше полною. Главврач говорит: нарушен обмен. А что сейчас не нарушено?

Она говорила об этом бойко и весело. Должно быть, столько видела каждый день страданий, что ее личный обмен веществ и все домашние дела не казались столь уж серьезными.

— Я бы сам поглядел, — сказал Олег.

— А мне что прикажете, сидеть без дела? — Она взглянула на ручные часы. — До дежурства еще есть время. Отец вот запаздывает...

Выглядев все с фантастической быстротой, она отправила за дощатый забор, то есть к своим дочерям.

— Отвыкли, — сказала Вера Дмитриевна. — Дети любят тех, кто с ними возится. Скорей бы кончалась зима!

Она не заигрывала с ними, а по-деловому проверяла, все ли в порядке. Сестры молча терпели, будто являлся ответственный комиссия.

Дверь распахнулась, и вошел «папа Кузя».

Он не поздоровался ни с женой, ни с нами. Ставнул ушанку с высокими и жесткими волос.

— Как раз сегодня мама и Николай Евдокимович испытывают новое приспособление. Очень забав-

нос... — поспешил сообщить я. Потому что он просил меня вовремя об этом сказать.

— Знаю, — ответил «папа Кузя». И резким движением левого плеча сбросил шинель! — Платформы пришли.

— Мы пути расчищали, — сказал Олег.

— Молодцы, — машинально похвалил он.

— А что случилось? — спросила Вера Дмитриевна.

— Что случилось?!

Он стукнул правой рукой по столу. Все притихли. И даже сестры не посмели заплакать.

— Что, Кузьма? — повторила она.

— Трос не выдержал. Лопнул... И там, на платформе, инженера Елизарова...

— Ударило? — шепотом спросил я.

— Но со страшной силой. Со страшной!

— А что с ним сейчас? С Николаем Евдокимовичем?...

— Был жив.

— А... мама?

— Она стояла внизу.

Кузьма Петрович подошел и положил свою руку на мою.

— Стояла внизу. Ты веришь мне?

— Да.

— А с Елизаровым плохо...

Он отошел.

— И куда же его отправили? — четко произнося слова, спросила Вера Дмитриевна.

— Советовались... Решили к вам в госпиталь. Поскольку недалеко... Я был за это.

— Ну, я пойду, — сказала Вера Дмитриевна.

И ужас, перехвативший горло, немного отпустил меня.

— Мне пора, — сказала она.

13

После операции Николая Евдокимовича положили на общую палату, а в комнату старшей медсестры. Так устроила Вера Дмитриевна.

— Он смертельно ранен, — сказала она. — Но и смертельно раненные иногда выживают. Случаются чудеса.

Нас с мамой пустили к нему.

Запах госпитали проникал и туда: запах крови, открытых ран, гноя, лекарств.

Вера Дмитриевна забегала каждые пятнадцать минут: в белом халате мать Олега казалась еще более полной, но дегаилась бесшумно. Она действовала: проверяла пульс, поправляла подушку, делала уколы. И появлялась надежда...

Хотя говорила она только правду. Говорила так тихо, что даже стены не слышали.

— Все отбито внутри... Все отбито, — одними губами сообщала она.

Когда Псидкидэш очнулся, он попросил, чтоб ему вернули очки. Наверно, думал, что сквозь толстые стекла не будет видно, как он страдает.

— Боль должна быть невыносимая, — опять одними губами проговорила Вера Дмитриевна. И сделала Николаю Евдокимовичу еще какой-то укол.

— Теперь станет легче.

Он заснул. Внутри у него что-то скрежетало, переворачивалось. Странно... но это нас успокаивало: мы вроде бы с ним общались, прислушивались к нему.

Двигаться по комнате мы не имели права. Я сидел на белой табуретке, а мама стояла.

Один раз Николай Евдокимович, вновь очнувшись, подзвал нас. И прошептал:

— Мне очень... вас жалко...

— Ты... наш дорогой! — ответила мама.

Никогда прежде она не называла его на «ты». Услышав в этом отчаяние, Подкидыш захотел улыбнуться.

— «Учитесь... властвовать собой», — тихо посоветовал он.

Или, верней сказать, попросил.

К вечеру в палату вошел милиционер в накинутах на форму халате. Я не мог определить его чина.

Он подошел к постели, раскрыл тетрадку и сказал: — Мне разрешили... на пять минут. Дело требует! — Это напоминало сцену из кинофильма. — Так что несколько слов...

Николай Евдокимович весь как-то напрягся. — Запишите, — с твердостью, которой трудно было ожидать, сказал он. — Тросы проверял я. Лично я...

— Но ведь руководительница работ... — осторожно вставил милиционер.

— Нет, — перебил Николай Евдокимович. — За это отвечал я. И доложил ей, что все в полном порядке.

Последние слова он прошептал торопливо, боясь не успеть. Он израсходовал все свои силы. Но потом снова напрягся:

— Если не возражаете... я хочу подписать.

— Это еще не все, — с грубоватой неумелостью поправляя подушку, сказал следователь.

— Это все. Вы запишите, пожалуйста... Побystрее. Следователь поспешно задал карандашом канцелярским карандашом, кончик которого то и дело нервно совал в рот.

— Я подпишу это место, — настойчиво попросил Подкидыш.

— Когда мы кончим весь протокол...

— Нет, дайте сейчас. Это место... Помогите, пожалуйста.

Следователь послунил карандаш, наклонился к Подкидышу. И тот подписал.

Мне показалось, что ему полегчало.

Вера Дмитриевна вошла, опытным взглядом оценила обстановку и потребовала, чтобы милиционер вышел.

Лицо Подкидыша в роговых очках затерялось на подушке.

— Устал, — сказала мама Олега. — Вы все выяснили?

— Надо бы...

— Да нельзя! — перебила она милиционера. И проверила у Подкидыша пульс.

Следователь мхнул рукой и вышел в коридор. Мы с мамой, хоть он и не знал, тоже вышли.

— Я вам нужна? — спросила мама.

— Да чего тут!...

— Надо было перестраховаться, — сказала она. — Перепроверить!

— Он же докладывал вам, что все в порядке.

— Не помню... По-моему, не докладывал.

— Показания подписаны собственноручно. Так что... такое дело.

— Это ... его...

— Это война, — сказал милиционер. И захромал прочь от нас вдоль коридора: тоже, наверно, был ранен.

— Зачем ты так говоришь?! — набросился я на маму.

— Прости, — сказала она. — Я не должна была... ради тебя. Я вообще, следовало... проверить. Тех-

ника безопасности! Сколько раз я говорила: техника безопасности! А мне и тут отвечали: война. Тросы с ней не считаются.

Пока мы были в коридоре, Николай Евдокимович умер.

Его старики были в Москве, на Ваганьковском кладбище. Он мечтал лежать рядом с ними.

Как-то однажды он рассказал мне, что и Есенин лежит там же, неподалеку.

— Это был великий философ! — утверждал Николай Евдокимович. — «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье...» Если взять один только эти строки! Или... «Ведь каждый в мире странник — пройдет, и уйдет и вновь оставит дом...»

Подкидыш оставил наш дом навсегда.

«На Ваганьковском кладбище... Других пунктов в моем завещании не будет», — говорил он.

Кто в мире мог выполнить его просьбу?

— Солдат хоронят там, где они погибают, — сказал на следующий день Кузьма Патрович. — Он ведь и умер в госпитале... Среди солдат.

А старики ждали его на Ваганьковском кладбище.

☆☆☆

Я приближался к маме... И тем более, перед встречей с ней, мне захотелось взглянуть на госпиталь, где умер Подкидыш.

Я вспомнил, что там, в комнате старшей медсестры, он раз или два с неимоверным напряжением приподнимался на локтях. Вероятно, хотел сказать что-то маме. Но я не догадался выйти из комнаты. К тому же Вера Дмитриевна то и дело пыталась его спасти. А позже приковылял следователь...

Я попросил таксиста завернуть к бывшему военному госпиталю. Он первый раз обернулся и взглянул на меня с интересом и даже сочувствием.

— Вы в госпитале лежали?

— Да нет... Я был тогда еще школьником.

— А-а, — разочарованно протянул он. И опять повернулся спиной.

«Этот лерень, должно быть, еще не родился в ту пору, когда сюда привозили раненых», — подумал я.

Прежде госпиталь был в трех километрах от города. А теперь это здание наверняка находилось где-нибудь в центре. Да и что в нем сейчас? Школа, больница? Или какое-нибудь учреждение?

«Вряд ли найдем», — подумал я. И изменил маршрут.

14

После смерти Подкидыша мама без конца перечитывала письмо «командира воинской части, которое выстукал на машинке Олег. Боялся новой поттери, не зная, что она к нам... уже пришла.

А в гибели Николая Евдокимовича продолжала винить себя. Мама делала это часто и испуганно:

— Что мне стоило перепроверить? Что стоило! Иногда она кончала словами, которых никто от нее раньше не слышал:

— Я устала. Очень устала.

Мне казалось, что устала она прежде всего от мыслей: об отце, о Подкидыше. А стремясь избавиться от усталости, нагружала на себя все больше и больше дел.

Наш барак к тому времени окружили красные коробы будущих цехов. На стройке одного из них

мама пропадала с рассвета и до ночи. Ей уже не приходилось встречать эшелоны, сгружать оборудование, рассортировывать... Но забот прибавлялось. Домой она приходила часов на шесть или семь. Укладывалась, когда радио кончало свои передачи, а вставала, как только черный круг на стене оживал. Так было изо дня в день, изо дня в день... — Твоя мама уехала? — спросил меня как-то Олег. Он никогда не заставал ее дома.

- Она на стройке.
- И отец там. Но не всегда же...
- А мама всегда.

Город заполнялся похожими, как двойники, корпусами, перебрался через реку, занял позиции на том берегу. Нам с мамой дали восьмиметровую комнату в настоящем кирпичном доме.

Мы собрали все свои вещи, сложили их в бездонный сундук, обвитый железными лентами.

— Как я могла заставить Подкидыша тащить его? — продолжала терзать себя мама. — У него было столько болезней!

- Ты знала о них?

— Конечно... Ценим, когда теряем. И жалеем, когда теряем. Говорят, лучше поздно, чем никогда. Порой эта поговорка звучит бессмысленно. Поздно — значит, все... Поезд ушел. И всегда-то мы наваливаемся на безотказность человеческую, на деликатность. Эксплуатируем их беспощадно...

- Ты о чем?
- Все о том же.

Я никогда до той поры не догадывался, что душевные перегулки подтачивают здоровье гораздо сильнее, чем физические. В физических мама искала спасение. И нагружала себя и нагружала...

Я редко встречался с нашими соседями по бараку: они затемно уходили и возвращались во тьме. Но когда мы стали прощаться, вдруг выяснилось, что я знал не только их надрывные на глаза мохнатые шапки, не только их валенки и полушубки, — я угадывал, сам того не подозревая, их лица. И помнил глаза... Оказалось, что мы с ними в этом бараке с родились.

Позже я понял: война не давала людям возможности и просто-напросто времени для проявления всех своих «разнокалиберных» качеств. На передовую позицию жизни выкатывались орудия главного калибра. Ими, настигавшими врага даже из дальнего тыла, были каждодневная, будничная отвага и готовность жертвовать и терпеть. Люди становились чем-то похожи друг на друга. Но это не было однообразием и безличностью, а было величием.

Так думал и говорил я гораздо позже, когда война уже кончилась: «Большое видится на расстоянии...» Быть может, сравнения мои звучали слишком высокопарно. Но ведь и героизм людей, живших с нами рядом, в бараке, тоже было высоким.

Тот сосед, что жил за «озером с лебедями» и угрюмо обещал маме каторжную работу, оказался водителем лэтионки. Он приехал на ней, погрузил сундук и отвез его в наши восьмиметровые хоромы, казавшиеся мне необъятными.

Прощаясь, все просили «не забывать». И мы обещали. Хотя тогда я не представлял себе, что этот барак, похожий на деревянный туннель, останется в моей памяти навсегда.

Заходить в гости никто не приглашал, потому что уи у кого не было времени принимать и навещать.

Весна, лето, осень шли, как и положено, друг за другом.

— А что теперь не нарушено? — спросила как-то, переходя от своего обмена вещами к общим проблемам, Вера Дмитриевна.

В природе порядок не нарушался. Но отношение к временам года стало иным. Я всегда обожал зиму с коньками и лыжами на Гоголевском бульваре. Теперь же я боялся мороза, как беспощадного недруга. Но ничего в природе изменить было нельзя — и холода опять наступили.

Каждый день начинался со сводки Информбюро. Если сводка была плохой, все знали, что надо утратить усилия. А если хорошей, то тем более надо утратить...

Мама утраивала свои усилия бесконечно. К тому же она не расставалась с письмом «командира воинской части» и не могла забыть металлический трос, который бы не убил Подкидыша, если бы всё вовремя «перепроверили». В конце концов она заболела... Простудилась, потому что очередной день начали возводить в январе сорок третьего, на морозе.

Я сразу ощутил, что наша восьмиметровая комната уж не так велика. В ней поселилось третье существо — болезнь с кашлем, лекарствами. Стало тесно... И очень страшно. Я вглядывался в мамино лицо, а она улыбалась. Улыбка у нее была по-прежнему, «как у Любови Орловой».

— Обыкновенной простуды испугался? Чудак! — говорила она.

Я попросил зайти к нам Веру Дмитриевну, поскольку Олег объяснил мне, что старшая сестра госпиталю опытные любого профессора: практика очень большая.

Она заполнила нашу комнату собой... и уверенностью, успокоением.

— Воспаление легких. Организм истощен, конечно... Слабо сопротивляется. Но это не смертельное ранение. И даже не тяжелое. Уж поверь мне! Мы, женщины, очень живучи. Поставим банки, горчичники — и все как рукой снимет. Не сомневайся!

☆☆☆

Таксист мрачно, уже выходя из терпения, притормозил возле нашего трехэтажного дома.

Дом казался мне раньше высоким, как и «горы» на Гоголевском бульваре. «Да, представлялся о масштабах с годами меняются», — вновь согласился с Николаем Евдокимовичем. Мамин адрес тоже давно изменился...

— Сколько мы еще будем останавливаться? — наконец выразил слух свое недовольство таксист. — У меня — план!

— Почти приехали! Это последняя остановка, — ответил я.

До мамы оставалось всего два квартала. Я сказал, куда надо ехать.

А в самом начале сорок четвертого года у Олега в доме появилась вдруг девушка с почты. Она жила, оказываясь, в соседнем подъезде и разыскала меня.

— Ты уже давно не приходишь. А вам вот... письмо.

Она проткнула треугольник без марки. Пальцы ее стали совсем прозрачными и еще больше распухли на сгибах.

Я взял треугольник в руки. Уронил его... Поднял. Опустил на ступ.

— Что с тобой? — как тогда, около двух лет назад, услышав я голос девушки. Это было письмо от отца.

На столе стояла пишущая машинка, на которой Олег выстукал сообщение «командира воинской части». И вот теперь... Это было невероятно.

«Дорогая Катенька! Дорогой Дима! — писал отец. — Родные мои, бесконечно любимые люди! Представляю, что вы из-за меня пережили, что передушили за эти два с лишним года.

Расскажу сейчас только о главном. Тороплюсь, чтобы письмо ушло с первым же самолетом: к годам вашего ожидания не могу добавить ни одной лишней минуты!

В октябре сорок первого меня ранило. Двигаться я не мог и попал в плен. Про лагерь писать не буду. Это страшно, но уже позади! Мне с двумя солдатами удалось наконец бежать. Сейчас, когда прошло время, наш побег кажется детективной историей. Но на самом деле он был предельным напряжением всех сил и возможностей.

Попали мы к партизанам... А вчера (только вчера!) воссоединились с нашей армией.

Хожу с палкой. Меня определили пока на службу в фронтовой госпиталь.

Дорогие, я чувствую, что победа близка. А это значит, что мы соберемся, как раньше, у нас, в Гагаринском переулке. И расскажем друг другу обо всем, что нам пришлось вынести. Это будет уже сброшенная с плеч ноша — и поэтому она не покажется нам непосильной.

О подробностях в следующем письме. Тороплюсь... Но все же скажу еще вот что. Какие бы я ни испытывал муки, всегда было у меня утешение: вы в безопасности, за вас я могу быть спокоен! Хочу знать о каждом прожитом вами дне. Буквально о каждом!

Передайте привет Николаю Евдокимовичу. Как он живет и работает? Оберегает ли вас? Если оберегает, я буду благодарен ему до конца своих дней.

Как замечательно, что вы, Катенька, там, в глубоком тылу.

Дорогая моя, скоро мы победим, чтобы никогда больше не расставаться...»



«Екатерина Андреевна Тихомирова, — прочитал я на гранитной плите, — 1904—1943».

Я приехал к маме, у которой не был около десяти лет. Так уж случилось. Сперва приезжал часто, а потом... все дела, все дела.

У меня в руках был букет, купленный на привокзальном базаре.

«Николай Евдокимович Елизаров» — было написано на другой плите, почти рядом. И на могилах, что были вокруг, тоже стояли цифры — 1941, 1942, 1943...

«Организм истощен. Слабо сопротивляется...» Прости меня, мама.



ЕВГЕНИЙ ЗАМИЯТИН

Родился в 1947 году.

Работал на
Ниже-Тазильском
металлургическом
комбинате,
служил в армии.
Сейчас живет
на Сахалине

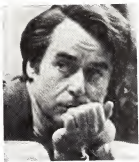


Резцвик

Его мы звали все резцвиком.
Он сорок лет, не много и не мало,
Играл алмазной гранью самокала,
Затачивал резцы острой штыков.
Свистел наждак, летели искры вбон,
Тяжелые и желтые, как пчелы.
Роняли жала на подручник голый
И падали, холодные, у ног.
Точней его никто не мог точить:
Шли доли миллиметра строй за строем —
О сотках говорить уже не стоит,
Он тысячные глазом мог ловить.
Не знали мы, что близится гроза.
Но сорок лет, не много и не мало,
В глаза его усталость проникала
И затемила ясные глаза.
Стоят резцы в музее заводском,
С тоской глядят в зеркальные колодцы.
Как воины стоят без полководца.
Его мы звали все резцвиком.

Сахалинец

Где сейчас он, как ловит зверей и рыб, —
Знают кайры одни да ели.
Он у Погиби-мыса едва не погиб,
Да Три Брата спасти сумели.
В Нефтегорске он вышками тучи рвет,
А в Шахтерске уходит в землю.
Никакая беда его не берет.
А печаль он сам не приемлет.
У Оленьей реки он оленя спас,
Секачей мирил на Тюленьем.
И о том, где был, вспоминал не раз
На крутой Горе Возвращенья.



**АНДРЕЙ
ДЕМУТОВ**

А мне приснился сон

И. Л. Андроникову

А мне приснился сон,
что Пушкин был сласен
Сергеем Соболевским...
Его любимый друг
с достоинством и блеском
дуэль расстроил вдруг.
Дуэль не состоялась.
Остались боль и ярость.
Да шум великосветский,
что так ему лостыл...

К несчастью, Соболевский
в тот год в Евролах жил.

А мне приснился сон,
что Пушкин был сласен...

Все было очень просто:
У Троицкого моста
он встретил Натали.
Их экилажи встали.
Она была в вуали —
в серебряной лыли.
Он вышел поклониться,
сказать — луской не ждуг.

Могло все измениться
в те несколько минут.

К несчастью, Натали
была так близорука,
что, не узнав супруга,
растаяла вдали.

А мне приснился сон,
что Пушкин был сласен.

Под дуло листолета,
не олуская глаз,
шагнул вперед Данзас
и заснонил поэта.
И слышал только лес,
что говорит он другу...

И олускает руку
несбывшийся Дантес.

К несчастью, лленник чести
так поступить не смел.
Остался он на месте.
И выстрел прогремел.

А мне лриснился сон,
что Пушкин был сласен.

У могилы Н. Н. Пушкиной

«Здесь похоронена Ланская...»
Снега некрополь замели.
А слух ло-прежнему ласкает
святое имя — Натали.

Как странно, что она — Ланская.
Я не Ланской цветы принес,
а той, чей образ возникает
из давней памяти и слез.

Нам каждый день ее был дорог
до той трагической черты,
до Черной речки, за которой
настало бремя суеты.

Как странно, что она — Ланская.
Ведь вслед за выстрелом сама
оборвалась ее мирская,
ее великая судьба.

И хорошо, что он не знает,
как шли потом ее года.
Она фамилию сменяет,
другому в церкви скажет «да».

Но мы ее не осуждаем.
К чему былое ворошить.
Одна осталась — молодая,
с детьми, а надо было жить.

И все же как-то горько это,
не знаю, чья уж тут вина,
что для живых любовь поэта
так от него отдалена.

☆☆☆

Нам с вами случай встретиться помог.
Не удивляйтесь ни словам, ни взгляду.
Вы разрешите, я напропиху сяду,
вблизи улыбки вашей и тревог.

Вы так прекрасны, что лечально вашей
охвачен я, не ведая того,
ч разговор для нас не так уж важен.
Важнее желанье продолжать его.

Мы с вами долго были или мало,
но радостно нас брудершафт настиг.
И наши душ, словно два бокала,
солрикнулись в этот тихий миг.

Быть может, был я чуточку влюблен
в улыбку вашу — собственность экрана —
и в этот вопросительный наклон,
когда меня вы слушали так странно.

Но все прошло, и все в душе осталось.
И оживает в лапяти моей.
Наверно, дружба в нас тогда рождалась.
Мы не решились говорить о ней.

Аварийное время любви

Твои смуглые руки на белом руле.
Аварийное время сейчас ка земле:
Аварийное время — предчувствие сумерек.
В ветровое стекло вставлен сияющий пейзаж.
Выбираемся мы из сизых сутулостей,
И дорога за ками — как тесный гараж.

В чей-то город под нами
спускается солнце.
Угасает на кебе холодный пожар.
Аварийное время кавстречу несется,
Как спелые маковки с беломом вместо фар.

От себя убежать мы торолимся вроде.
Две тревожных морщинки
ка гнетехемском лбу.
На каком-то кеведемом нам повороте
Потеряли случайно мы нашу судьбу.

Аварийное время кастало для нас.
Вот решусь — и в былое тебя укусу я...
Ты в азарте летишь ка кетронутый каст.
И колеса сейчас, как слова, забуксуют.

Аварийное время кедолгой любви.
Все трудней и оласнее каше движенье.
Но ке светятся радостью очи твои.
Словно кто-то в душе ломекал капраженье.

Светофор зажигает свой яростный свет.
Подожди, ке слеш... Мы ломедлим
немного.
Будет желтый еще. Это да или кет!
Пусть ответит дорога...

☆☆☆

Схожу с ума ло юности своей.
Не ло годам минувшим и забавам,—
схожу с ума средь шума и камкей
ло сиким речкам и прохладным травам.

Когда приходит лето в город каш
и ллавится асфальт ка солкцелеке,
мке скова вспоминается пейзаж:
овраг в цветах и тополь у дороги.

Я в ламаты своей ке одинок.
Мека деревка тоже вспоминает.
Хоть до сих пор я к кей лрйти не мог.
Из этого ока ке покимает.

Не покимает, как среди камкей
мог отыскать я и локой и счастье.
Ведь воздух давкей юности моей
прокзителькей, целебнее и слаще...

☆☆☆

Не люблю хитрецов.
Не умею хитрить.
Не могу дурака
похвалой одарить.

Не умею молчать,
если сердце кипит.

Не меняю ка выгоду
горьких обид.

Можно хлеба краюху
делить лополам.
Половину души
кикому ке отдам.

Отдавать — так уж всю,
без остатка, до дка.
Потому что, как жизнь,
неделима ока.

Не люблю хитрецов,
ке умею хитрить.
Что подумал о ком-то,
могу ловторить.

Все могу ловторить,
глядя прямо в глаза.
Если б так же всегда
постулали друзья...

☆☆☆

У мека от хамства нет защиты.
И ка этот раз око силнее.
Звокиие хрусталики разбиты —
лозынные доброты мози.

Только слышко, как в душе играет
на старикой скрилочке лечаль.
И слова для мести выбирает,
что забыты были кевзначай.

У мека от хамства нет защиты.
Беззащитность — за какой же грех!
И олять в волках моей обиды
захлебнулся смех.

Ну, а хамство руки лотирает.
Все ему лока что сходит с рук.
Сколько мир от этого теряет!
Только нам сплотиться кедосуг.

У мека от хамства кет защиты.
Как обидко, что в душе моей
звокиие хрусталики разбиты.
А ведь я берег их для людей.

☆☆☆

В любви мелочей не бывает.
Все высшего смысла лолко.

Вот кто-то ромашку срывает,
кадежды своей не скрывает.
Расставшись — глядят ка око.

В любви мелочей не бывает.
Все скрытого смысла лолко.

Нежданно лечаль наллывает,
улыбка в ответ оствывает,
хоть было кедавко смешко.

И кто-то украдкой зевает,
как будто на скучном кико.
И к прошлым словам ке вызывает —
оки лозабыты давко.

Так, значит, любовь убывает.
И, видно, уж так суждено.

В любви мепочей не бывает.
Все высшего смысла лопно.

☆☆☆

Не знаю имени, фамилии...
Да и зачем все это мне!
В купальной шалочке — кан липия —
ты вновь белеешь на волне.

А я-то ничего не знаю:
откуда ты и сколько лет.
Но красота твоя земная
уже для пляжа не секрет.

Вот ты идешь в воде зеленой,
и вполне прозрачно-голубой,
пона доверчиво влюбленной
лишь в то, что видишь пред собой.

И ни к чему тебе наряды —
мы все во власти красоты.
И вновь восторженные взгляды
тебя проводят до воды.

Чего скрывать, ты даже рада,
что так любят тебя тобой.
И чей-то вздох и чьи-то взгляды
ты робко чувствуешь спиной.

Тебя волнует дасть морская
и этот синий непокой...
А море вновь тебя ласкает
с тревожной нежностью мужской.

☆☆☆

Сомнений снежный ном
несется к нам из прошлого...
Не думай о плохом,
а помни про хорошее.

Сомнения твои
я растопить сумею
признанием в любви
и нежностью своею.

Ты помнишь, в прошлый май
мы заблудились в чаще!
И утренняя хмарь
пророчила несчастья.

Нас спас зеленый холм
и чей-то дом заброшенный.
Не думай о плохом,
а помни про хорошее.

Мы вышли из болот,
из той зловещей чащи.
С тех лор в тебе живет
боязнь за наше счастье.

Кан будто может пес
нас разлучить с тобою.
Кан будто синий лес
вдруг обернется болью.

Мы на нонях верхом
просиочим бездорожье.
Не думай о плохом,
а помни про хорошее.

☆☆☆

Стихи приходят поутру.
Они являются внезапно.
И тут не снажешь: «Лучше завтра...»
Хоть пень уму вступать в игру.

И ни гарантий нет, ни правил.
Идет работа наугад.
Кан на дорогу сылят гравий,
так и снова в сторону летят.

Вначале все пегко и смутно,
нан лервый лучин на столе.
И я боюсь, чтоб те минуты
не оборвались на нуле.

Но вот игра ума и чувства
меня захватывает вдруг.
И каждый звук я слышу чутно,
нан сердца собственного стун.

Стихи спешат нетерпеливо.
Что мне готовит их игра!
Догадну юности счастливой!
Иль залоздаль риси лера!

Но все равно мне дорог каждый
миг вдохновенья моего.
Не то оно меня наажет —
и вдруг исчезнет волшебство...

На сердце радость и тревога:
не зря ли все я затевал!
Страна — что горная дорога —
неверный камень и обвал.

Стихи уходят, как прилипи,
легко уходят и внезапно.
Мое перо застыло цалпей
над тихой заводью души...

Ни о чем не жалеете

Ниногда ни о чем не жапейте вдогонку,
если то, что случилось, нельзя изменить.
Кан записку из прошлого, грусть свою
сномнав,
с этим прошлым лорвите непрочную нить.

Ниногда не жапейте о том, что спучилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
да надежды, как лтицы, ларчили в душе.

Не жалеите своей доброты и участия,
если даже за все вам — усмешна в ответ.
Кто-то в гении выбился,
кто-то в начальство...
Не жалеите, что вам не досталось их бед.

Ниногда, ниногда ни о чем не жалеите —
лоздно начали вы или рано ушли.
Кто-то луть гениально играет на флейте,—
Но ведь песин берет он из вашей души.

Ниногда, ниногда ни о чем не жалеите.
Ни лотерянных дней, ни сгорелшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте.
Но еще гениальнее слушали вы.



ПОВЕСТЬ

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА

Слушание дела было назначено на двенадцать часов. А я прибежала к одиннадцати утра, чтобы заранее поговорить с судьей, рассказать ей о том, о чем в подробностях знала лишь я.

Народный суд размещался на первом этаже и казался надземным фундаментом огромного жилого дома, выложенного из выпуклого серого камня. «Во всех его квартирах,— думала я,— живут и общаются люди, которых, вероятно, не за что судить... Но рассудить нужно многих. И вовремя, чтобы потом не приходилось выяснять истину на первом этаже, где возле двери, на стекле с белесыми островками было написано: «Народный суд».

Каждый воспринимает хирургическую операцию, которую ему приходится вынести, как едва ли не первую в истории медицины, а о смерти своей мыслит как о единственной в истории человечества. Суд, который был назначен на двенадцать часов, тоже казался мне первым судом на земле. Однако за два часа до него началось слушание другого дела. В чем-то похожего... Но только на первый взгляд, потому что я в тот день поняла: судебные разбирательства, как и характеры людей, не могут быть двойниками.

Комната, которая именовалась залом заседаний, была переполнена. Сквозь щель в дверях, обклеенных объявлениями и предписаниями, я увидела судью, сидевшую в претенциозно-высоком кресле. Ей было лет тридцать — и на лице ее не было величия человека, решающего судьбы других. Склонившись над своим торжественным столом, как школьница над партой, она смотрела на длинного, худого, словно выдавленного из тубика мужчину, стоявшего ко мне спиной, с детским недоумением и даже испугом... Хотя для меня она сама была человеком с пугающей должностью.

Народных заседателей сквозь узкую щель не было видно.

Неожиданно дверь распахнулась — и в коридор вывалилась молодая, дебилая женщина с таким воспален-

ным лицом, будто она была главной героиней всего происходившего в зале. Женщина, ударила меня дверью, не заметила этого. Мелко дрожащими пальцами она вытаскивала сигарету, поломала несколько спичек, но наконец закурила, плотно закурив собой вновь образовавшуюся щель. Она дымила в коридор, а ухом и глазом, как магнитом, притягивала к себе все, что происходило за дверью.

— Кого там судят? — спросила я.

Женщина мне не ответила.

— Мама, поймите, я хочу, чтобы все было по закону, по справедливости... донесся из зала сквозь щель слишком громкий, не веривший самому себе голос мужчины, выведенного из тобука.

Возникла пауза: наверное, что-то сказала судья. Или мама, которую он называл на «вы».

— Что там! — вновь обратилась я к женщине с восторженным лицом.

Она опять меня не услышала.

На улице угасающее лето никак не хотело выглядеть осенью, будто человек пенсионного возраста, не желающий уходить на «заслуженный отдых» и из последних сил молодящийся.

В любимых мною романах прошлого века матерей часто называли на «вы»: «вы, мамочки...». В этом не было ничего противоестественного: у каждого времени своя мода на платья, причёски и манеры общения. В деревнях, я знала, матерей называют так и поныне: там трудней расстаться с обычаями. Но в городе это «вы» всегда казалось мне несовместимостью с веком, отчужденностью, выдававшей себя за почтительность и деликатность.

«По закону, по справедливости...» — похоже, слова я слышала совсем недавно из других уст. Их чаще всего, я заметила, употребляют тогда, когда хотят встать поперек справедливости: если все нормально, зачем об этом кричать? Мы же не восторгаемся тем, что в наших жилах течет кровь, а в груди бьется сердце. Вот если оно начнет давать перебои...

На улице как-то неуверенно, не всерьез, но все же заморосил дождь. Я вернулась в коридор и опять подошла к женщине, превратившейся, казалось, в некий звукозаписывающий аппарат.

— Перерыв скоро будет, не знает? — спросила я, поскольку в коридоре, кроме нее, никого не было.

Она оторвалась от щели и шепотом крикнула мне: «Не мешайте!» — словно присутствовала на концерте великого пианиста и боялась упустить хоть одну ноту, хоть один такт.

«Наверняка должен скоро бить», — решила я. — И можно будет поговорить, посоветоваться...

Всю ночь я релетировала свой разговор с судьей. Придумывала фразы, которые, я надеялась, услышав от меня, она злословит и повторит во время судебного разбирательства.

Но беседа оттягивалась, и я, подобно студентке перед экзаменационной дверью, стала вновь как бы заучивать факты, аргументы и даты. Они незаметно вытиснулись в ленту воспоминаний — не только моих собственных, но и чужих, которые при мне повторялись так часто, что тоже стали моими.

Я знала, что прежде существовали «родовые помешательства», «родовые устои», «родовая злость»...

А у меня была родовая травма. Врач-акушерка на мне растерялась, замешкалась. И в моей еще ни о чем не успевшей поразмышлять голове произошло кровоизлияние, но, как сказал, утешая маму, один

из лечивших меня врачей, «ограниченного характера». Характер был «ограниченный», а ненормальность охватила весь мой организм и стала всеобщей. Собственных впечатлений о том первом дне жизни у меня, к сожалению, не сохранилось. Но история моей болезни вошла в историю: не потому, что я заболела, а потому, что в конце концов вылечилась. Это был уникальный случай. И мой младенческий крестинизм даже попал в учебники. Прославиться можно разными способами!

Я благоговела перед врачами. С заискивающей надеждой заглядывала им в глаза... Но не раз думала и о том, что вот так, от одного неловкого движения акушерки зависит вся человеческая жизнь: Моцарт не станет Моцартом, а Суриков или Поленов не смогут держать кисть в руке, не подчиняющейся рассудку. Да и простые смертные вроде меня будут приговорены к вечным страданиям. Из-за одного неловкого движения человека, который не имеет права на такое движение, ибо еще более, чем судья, определяет будущую человеческую жизнь, а в случае минутной ошибки выносит незаслуженный приговор и всем, кто к этой жизни причастен.

В отличие от нормальных детей я не ползала и вообще не проявляла ни малейшей склонности «к перемене мест».

На это обратили внимание в тот самый момент, когда моя бабушка собралась выходить замуж.

«Первая и последняя!» — называл ее шестидесятилетний жених.

— Он влюбился в меня, когда нам едва исполнилось по семнадцать, — впоследствии рассказывала мне бабушка. — Но между нами ничего не было.

— Совсем ничего? — цепко спросила я.

— Кажется, был... один поцелуй.

— Именно в семнадцать?

Бабушка кивнула.

— Синхронно! — воскликнула я. — У меня тоже в семнадцать...

— И я ничего не знала?!

— Сообщил я немедленно, этот запоздалый поцелуй оказался бы землетрясением. А так, видишь... Все живы-здоровы. Хотя маме, как говорится, оказалась живой свидетельницей.

— Каким образом?

— Увидела из окна.

Бабушка не нашла в поцелуе ничего угрожающего моей жизни. Она понимала меня с полуслова. А часто и полслова не нужно было произносить. Только взглянет — и сразу готов диагноз: «Ты больна?», «Ты получила тройку!». Во всех случаях она предлагала одно и то же, но безотказно действовавшее средство: «Ничего страшного!»

Действительно, после того, что случилось со мной в изнательный миг моей жизни, ничто уже не могло выглядеть страшным.

Бабушка любила вспоминать, как ее первый возлюбленный объявился через сорок три года.

— В позднем браке есть свои преимущества: нехватит сил и времени на развод!

Мама отговаривала ее от «неверного шага».

— Это противоестественно! — восклицала она. — Природой для всего установлены свои сроки.

Насчет природы мама была в курсе дела: она занималась охраной окружающей нас среды.

— Но и от окружающей среды приходится охранять! — уверяла она бабушку. — Что ж получается? Вся жизнь имел жену, а теперь ищет няньку!

Это маму не устроило: нянька нужна было ей

самой. Хотя тут я, наверное, не вполне справедлива: прежде всего нынче нужна была мне.

И бабушка не пошла под венец.

— Правильно сделала! — сказала я, впервые услышав от нее эту историю. — В семнадцать поцеловал и закрепил до шестидесяти! Где он был раньше?

— Там же, где я: в своей семье. Нас разлучили обстоятельства. И они же опять свели: мой муж умер, а он остался вдовцом. Встретившись, мы оба помолодели.

— Почему же тогда...

— А ты! — перебила меня бабушка.

И больше я не задавала дурацких вопросов.

Бабушка была палиной мамой.

А мамина мама руководила моим воспитанием с другого конца города по телефону: она объясняла, что мне рекомендуется есть, сколько часов гулять, а сколько посвятить сну. Она изучила все случаи родовых травм — и делала по телефону выводы, сравнения, указывала, как именно меня надо спасать.

В пору моего раннего детства врачи предупреждали родителей, что соображать я кое-что буду, но расти мне придется отсталым ребенком. Она помнила эти прогнозы: значит, и в то давнее время немногом соображала. Но только чуть-чуть... И давгалась плохо и говорила с трудом.

Бабушка, отказавшись от супружеского счастья, взялась за меня.

— Мама, поверьте, мне не нужно ничего лишнего! Я по закону хочу, — продолжал закидывать в зале судебного заседания длинный, худой сын. — Поэтому я и пришел в суд. В наш, советский! Который по справедливости...

Что ответила ему мать, я не услышала. И отошла от двери, возле которой, закурился собой щель, по-прежнему дымила воспаленная дебелия женщина. «По закону, по справедливости!» Да, это были знакомые мне слова.

Говорят, что у каждого человека в жизни должна быть цель. Но даже самых заветных целей бывает много. Или в редком случае несколько. У бабушки же со дня моего рождения цель действительно была только одна: поставить меня на ноги. Сначала в прямом, а потом в переносном смысле.

По профессии бабушка была медсестрой. Муж ее, то есть мой дедушка, погиб на войне, когда еще его самого, девятнадцатилетнего, в доме считали внуком.

— Вот ты не веришь, что можешь научиться читать, — воспитывала меня бабушка. — А я даже не спать научилась. И ничего страшного! Все ночи проводила у постели больных.

— Все ночи!?

— Почти. Помогала им, как могла. Иногда удерживала, не отпускала.

— Куда?

— На тот свет... И заодно подрабатывала.

Зачем ей нужно было подрабатывать, бабушка не объяснила мне. Но отец однажды сказал:

— Чтобы я был одет не хуже других в своем классе. И питался не хуже... Чтобы в театр ходил, в кино.

Бабушка хотела, чтобы я и я была «не хуже других». Это стало ее основным желанием.

Она рассталась со своей больницей.

— Это подвиг — оставить любимое дело! — сказала мама.

— Я, конечно, привыкла... — ответила бабушка. — Но ничего страшного.

— Тем более что и дома все будет, так сказать, в сфере вашей профессии.

Мама пользовалась четкими, отточенными формулировками.

Меня показывали докторам наук и профессорам. Я с утра до вечера глотала таблетки. Меня растирали, массажировали. Когда ребенок в доме хронически болен, все подчинено этому горю. Подавлено им. Мама и папа, когда оставались вдвоем, кажется, ни о чем, кроме моей болезни, не говорили.

Они волновались, страдали, а бабушка общалась со мной, как со здоровой.

— Ничего страшного! — уверяла она. — Даже твою имя говорит об этом.

Меня звали Верой.

Из всех профессоров, которые были брошены на мое спасение, главным оказалась бывшая медсестра.

Мне трудно было ходить, а она говорила:

— Сбегай-ка за газетой!

Я плюлась вниз и вверх по лестнице, но верила, что когда-нибудь побегу.

У бабушки были не сердобольные, а спасительные для больного человека глаза: они не подавали сочувствия, не поворачивали в сомнение слезливыми, туманными обещаниями, а просто уверяли, что не происходит «ничего страшного».

Умный, всегда златорекий волос и абсолютно белые, без малейших оттенков волосы укрепляли веру в бабушкины диагнозы и предсказания.

Я помню, что слова долго не вступали со мною в контакт: язык был тяжелым, не подчинялся. А бабушка, не замечая этого, без конца со мной разговаривала. Она вовлекала меня в беседы так естественно, а порой властно, что язык начинал понемногу сдаваться.

Некоторые взрослые поступали иначе. Они делились в моем присутствии своими тайнами, как при глухой. «При ней можно!» — слышала я. Сами того не понимая, они настойчиво убеждали меня в моей неполноценности.

Частенько к нам наведывался мамин соратник по борьбе с загрязнением окружающей среды Антон Александрович.

Загрязнение среды на его внешности не отразилось: он всегда был на сахарно-белоснежных рубашках, в свитерах — то пестрых, то одноцветных, то с короткими рукавами, то с длинными, которые сидели на нем складно, будто в магазинной витрине.

С годами я поняла, что людям свойственно подчеркивать в своей внешности то, что им выгодно подчеркивать, и скрывать то, что выгодно скрывать. «Все хотят выглядеть красиво», — позже не раз думала я. — Одна из главных человеческих слабостей!»

Антону Александровичу выгодно было подчеркивать спортивность своей фигуры — и он, не нуждаясь в портных, плотно облегал себя свитерами.

Заходил он только «по делу». Меня это нестораживало. Хотя мне в ту пору исполнилось всего лишь семь лет, я догадывалась, что для дел больше подходил научно-исследовательский институт, где они вместе работали, чем наша квартира в отсутствие папы. Появлялся же Антон Александрович чаще всего по субботам и воскресеньям, когда папа у себя в музее приобщал людей к искусству минувших веков.

А может быть, я увязывала эти события бессознательно. И лишь через много лет мне стало казаться, что я и в неразумном младенчестве все понимаю.

— Мы с вами люди самой модной профессии! — однажды сообщил маме Антон Александрович.

Это «мы с вами» заставило меня отменить прогулку и остаться дома. Хотя бабушка ждала во дворе...

Антон Александрович всегда приносил мне подарки. И очень шумно вручал их. Но его шокировало не это: «Слишком какой-то сладкий!». А с его кулаками не играла. Он подлизывался ко мне. И это тоже было тревожно.

Особенно он заботился о том, чтобы я дышала незагрязненным воздухом нашего двора. Но выпроводить меня на улицу ему ни разу не удалось.

Выслушав его сообщение о том, что кна дворе сегодня очаровательная погода, я усаживающая кудинбуд в угол и угромо молчала.

Он приписывал это моей крайней отсталости.

— Не достать ли какие-нибудь импортные лекарства! Японские, например! — предлагал он. — В этой области, по части мозга, японцы добились ошеломляющих результатов!

В конце концов полностью уверовав в мою немощность, он решил объяснить маме в любви.

София Васильевна... Сочечка! Загляните пристальней мне в глаза. Неужели вам ничего не ясно? И тут я зорчала... Я схватила маму за руку и потащила ее в другую комнату, чтобы она не успела заглянуть в глаза Антону Александровичу.

— Она все поняла! Вы видите, Антон Александрович! Это уже не просто некое улучшение, а беспорный прогресс. Она на пороге выздоровления. Какое счастье! Какое огромное счастье!

Этот «порог» спугнул все планы Антона Александровича — и он, мрачно восхитаясь, покинул наш дом.

В тот же вечер мама, захлебываясь, рассказала обо всем папе:

— Ты представляешь, Антон Александрович решил выразить мне свои чувства. Не впрякую, конечно. Поплунамеками... Как джентльмен! Я не успела еще ничего толком сообразить, а Верочка уже все поняла. И воспротивилась. Это же замечательно! Она не просто научилась выговаривать слова и лучше ходить — она выкивает в психологию человеческих отношений!

Мама, вероятно, была права, поскольку это длинное — психология — начинается со слова «псих». Так я мысленно шутила впоследствии.

А тогда мне было радостно от сознания, что для мамы любовь ко мне все-таки дороже успеха. Это я поняла!

Папа радовался тому, что случилось, несколько меньше мамы. Но все же механически, вполголоса повторял:

— Это новая стадия... Новая стадия!

— Какие стадии, не пойму? — удивилась бабушка. — Она все понимает не хуже нас с вами.

Это был ее, бабушкин, метод лечения. О новой стадии моего выздоровления тем не менее рассказывали знакомым, врачам, и Антон Александрович перестал заботиться о том «по делу». История его любви была подробно описана в истории моей болезни. И тем самым увековечена!

Мамина мама сказала, что при жизни своего супруга, то есть второго моего дедушки, она ни разу и никому не позволяла «себя любить». Но моей сообразительности она тоже, разумеется, была рада.

Все это произошло не само собой... Я в своих воспоминаниях сильно забегала вперед. Перед «порогом» выздоровления были другие пороги и кручи, которые я преодолевала мучительно. И всегда с помощью бабушки.

Сообщая о том, что я буду отсталым ребенком,

врачи, конечно, чуть-чуть понижали голос. Но не настолько, чтобы я их не слышала. Я все понимала и ужасалась своей судьбе. Меня повергали в смещение и руководящие телефонные звонки маминной мамы. По тому, как долго и тщательно она объясняла, где надо искать пути моего спасения, я смекала, что дела мои плохи.

А бабушка как ни в чем не бывало говорила:

— Принеси-ка коробку с нитками. Будем шить и учить стихи.

Мне становилось легче.

— Вы опять не понимаете меня... Мною движут только благородные чувства, — донеслось из зала заседания.

«Все хотят выглядеть красиво. При любых обстоятельствах!» — опять подумала я.

И отправилась в глубь коридора.

Маму называли «крепким специалистом». Это определение очень к ней подходило. Всегда собранная, одетая скромно, но безупречно, с иголочки, мама была человеком волевым и «с убеждениями», как подчеркивали ее сослуживцы. Например, без косы, которая золотистой подковой обрамляла голову, я маму просто ни разу в жизни не видела. Впрочем, напоминала по форме своей подковы, эта золотистая коса, по сути, скорее была короной, ибо прикоснувшись к ней, мама обретала еще большую, чем обычно, уверенность в себе и принимала осанку владычицы. Когда она протгивала руку к косе, я знала, что сейчас будет сказано что-то очень важное и поучительное.

Бездумно мама не бросала слов ни на ветер, ни в безветренную погоду. Она выстраивала мысли с алгебраической точностью, вынося за скобки все лишнее. И почти никогда не меняла свои твердые точки зрения на какие-либо точки с запятыми или многоточия.

Мама всюду была как бы при исполнении служебных обязанностей. Она без устали боролась за окружающую среду, которую постоянно кто-нибудь загрязнял. Даже трубы, мне казалось, в ее присутствии дымили застенчиво, не в полную силу. А курить вообще никто не решался.

Правда, порой меня удивляло, что мама, борясь с отравлением природы, самой природой не восхищалась, не замечала ее красот. Борьба для нее была свойственной, чем любовь. Если, конечно, речь не шла обо мне. А может, такое обобщение было и вовсе неверным. Несправедливым...

Папа работал в музее экскурсоводом. На старых фотографиях он был высоким и статным. Но с годами как-то пригнулся... Согласно домашним легендам, его пригнула моя родовая травма. Слоняясь по судебному коридору, я думала о том, что скорее все же сильный мамин характер заставил его изменить осанку.

А впрочем, я, наверное, опять была неправа, несправедлива к своим родителям.

Там, перед дверью суда, я не в состоянии была примириться с тем, что мама и папа смогли...

Музейная обстановка приучила папу говорить вполголоса, а при маме даже и в четверть. Повторявший каждый день на работе одно и то же, папа и дома любил повторяться:

— Ты не должна игнорировать свое заболевание. Ты не можешь рвануться на тех, кто бегаеет во дворе. Они абсолютно здоровы.



«Ты не должна, ты не можешь...» Его методы воспитания входили в противоречие с бабушкиными. Я слушала всех, но слушалась бабушку.

За музейные ценности папа боролся так же, как мама за окружающую среду.

— В записках прозябает столько шедевров! — возмущался он. — Это все равно, что оставлять гениальные литературные творения в рукописях, хоронить их в столах авторов. Или лекарства, способные исцелять людей, прятать от жаждущих и страждущих! Кстати, искусство — это тоже сильнодействующий исцелитель. Сильнодействующий... Он необходим для нравственного здоровья!

Папа произносил это с необычной для него душевным подъемом. И потому чаще всего в отсутствие мамы, при которой остерегался повышать голос.

Он вообще любил исповедоваться, когда мы были вдвоем. Наверно, считал, что я в его исповедях ничего ровным счетом не слышю, и поэтому мог быть вполне откровенным, как если бы рядом с ним находилась собака.

Сначала я и правда ни во что не могла как следует выникнуть. Но постепенно, с годами, под воздействием таблеток, массажей и бабушкиного психологического лечения, начала понимать, что папа в юности мечтал стать художником. У него даже находили какой-то «свой стиль». Но мама этого стиля не обнаруживала. У нее и тут была своя твердая точка зрения: художником нужно быть либо выдающимся, либо никем. И папа стал никем.

Потом он расстался со «своим стилем» и в других сферах жизни.

— Я сделался копировщиком картин, — сообщил он однажды. — Сделался копировщиком... Ну, а после переклассифицировался в эскизуровода. Если бы мама тогда, давно... лучше понимала меня, я бы мог стать личностью. Мог бы стать личностью... В искусстве по крайней мере! Хотел создавать свои полотна — теперь рассказываю про чужие. Что делать в подобных случаях, а?

— Разводятся, — неожиданно ответила я. Хотя он задал вопрос вовсе не мне, а как бы бросил его в пространство... Мое присутствие он, подобно другим взрослым, в расчет фактически не принимал.

Папа, как и мама после моей реакции на любовный взрыв Антона Александровича, пришел в восхищение.

— Ты сама догадалась или тебе подсказали? — допытывался он.

— Подсказали, — ответила я.

— Кто?

— Ты.

— Нет, не приписывая мне этой заслуги: ты сама стала мыслить четко и ясно! Четко и ясно... — ликовал папа. И восторженно заламывал руки. — Мама права: ты стала постигать сложные нравственные категории. У тебя появилась способность иронизировать!

Своими восторгами они как бы подчеркивали, что судьба-то мне предначертала быть полной кретинкой.

Я решила отвлечь папу от моих умственных достижений и спросила:

— А почему вы все-таки не развелись?

— Потому что я... люблю маму.

— И правильно делаешь! — с облегчением сказала я.

Это привело папу в еще больший экстаз:

— Любящая дочь должна была именно так завершить обсуждение этой деликатной проблемы. Именно так должна была завершить... Все логично! Никаких умственных и нравственных отклонений!

Он с трудом дождался прихода мамы. И прямо в коридоре поделился счастливым новостью:

— Она сказала буквально... цитирую слово в слово: «А почему вы все-таки не развелись? То есть она понимает, что если брак в чем-то не оправдал себя, не удался, люди разводятся. Ты представляешь себе, какие сложные аспекты человеческих отношений подавлены ее умом!

Как экскурсовод папа тяготел к возвышенным формулировкам. И некоторые свои фразы повторял, будто кто-то рядом с ним вел конспект.

— Так и сказала! — восхитилась и мама. — А почему вы не развелись?»

— Слово в слово!

— Великолепно! Ты, я надеюсь, исправишь эту ошибку?

— Нет... Потому что она сразу встревожилась, как бы я не последовал ее чисто теоретическому выводу. И подтвердила, что я должен остаться здесь, ибо люблю тебя. Ибо люблю... Это был голос разума, помноженный на голос сердца! — Папа, безусловно, тяготел к возвышенным формулировкам. — Еще одна новая стадия! — зафиксировал он.

Бабушка пожала плечами:

— Какая такая стадия?

— Нет, не говорите, — возразила мама — Мы укрепляем веру Веры в самое себя. И кому, как не вам, главному победителю, нашему доброму гению, сейчас радоваться?! Необходимо закрепить данное ее состояние. Бессспорно! — Мама вновь повернулась к папе: — А в результате чего она обратилась к этим проблемам?

— Я рассказывал ей о некоторых сложностях, которые имели место... в далеком прошлом. В очень далеком... Папа опять стал изъясняться вполголоса, как в музее возле картин. — Но она сама, без всякой моей подсказки, перекинула мост от конкретных событий к логическим выводам. К логическим выводам! — заключил папа, надеясь, что такая концовка уведет маму от сути того, что именно мы с ним обсуждали. — Еще одна новая стадия!

— Это бессспорно, — согласилась с ним мама. — Если так пойдет, она вскоре сможет учиться в самой обыкновенной школе... В нормальной. Вот тебе и отсталое развитие!

Моя неожиданная реакция на папину исповедь тоже попала в историю болезни. И была таким образом увековечена.

О том, что я посмела представить себе возможность их развода, мама словно забыла. И это при ее самолюбивом характере! Я еще раз поняла, что мое выздоровление было для них важнее всего. Важнее любых жизненных ситуаций и самолюбий.

Но никто так упорно, как бабушка, не стремился ускорить процесс моего замедленного развития. Пределом мечтаний для мамы и папы было вначале мое умение нормально ходить. А бабушка решила научить меня прыгать через веревочку.

— Говорят, выше себя не прыгнешь. Вы хотите опровергнуть эту истину! — с некоторым опасением сказала мама.

— Ничего страшного, — ответила бабушка.

Врачи обучали меня ясно произносить короткие фразы. Бабушка же заставляла заучивать головоломные скороговорки, а о том, что «Карл у Клары украл кораллы», я должна была сообщать ей, словно вполне естественному угрозила, ежедневно.

— Вы хотите овладеть программой максимум! — продолжала словесно рукоприкладствовать мама. — Мы этого никогда не забудем.

Бабушка заставляла меня, как альпинистку, не интересоваться холмами, а стремиться к вершинам, которые издали кажутся недоступными.

Она занималась этим целыми днями—и я могла бы возненавидеть ее. Но бабушка сумела убедить меня, как, наверное, убеждала не раз тяжелобольных, что там, за труднодоступными хребтами, долины спасения.

Она уверяла меня в этом без истерических заклинаний—спокойным голосом медсестры, которая подходит к постели, извбавляет подушку и дарит надежду.

Когда бабушка впервые объяснила мне, что самое дорогое слово на свете «мама», я стала называть ее «мамой Асей»; у бабушки было редкое имя Анисия.—Крестьянское имя,—объяснила она.

Руки у нее тоже были крестьянские—иссеченные линиями, черточками, морщинами и морщинками. Бабушка не раз пыталась убедить меня, что мама у каждого может быть только одна. Поэтому лучше уж называть ее так, как принято: бабушкой.

Я пересказала все это маме: мне было интересно, что она думает по данному поводу. Мама сказала, что же, что я:

— Она подарила тебе, как пишут в газетах, «второе рождение». И поэтому можешь называть ее матерью, Она заслужила. Это бесспорно!—Мама любила слово «бесспорно». И в самом деле никто спорить с ней не решался.—Я сама буду называть ее твоей «мамой Асей». Ты хочешь?

Исполнение любых желаний—привилегия больного ребенка. Но я возразила:

— Ты называй, как раньше... Анисией Ивановной.
— Хорошо. Раз ты хочешь! Только не волнуйся. Главное, не расхочовать нервы!

— Вы вспомните меня мальчиком!—умолял в зале мужчина, выдвинувший из тумбаки.—Разве я когда-нибудь огорчал вас?

Я вдруг услышала его мать. Она счастлива была сообщить всем, что в детстве ее сын был хорошим—и напрягла голос.

Дебелая женщина от неожиданности ахнула и обратилась к залу.

Судя, похожая на школьницу, склонившись над столом, как над партией, что-то разглядывала. Издали мне показалось, что это была фотография. Рядом на столе лежала ее раскрытая сумочка, из которой высвободился кончик платка. И я почему-то подумала, что она тайком разглядывала своего собственного сына. Наверное, маленького. И, может быть, размышляла о том, как это мальчики, которые в детстве не огорчают, потом...

Я сама часто об этом думала. И когда видела лицо негодая, всегда старалась представить себе, каким это лицо было в самом начале жизни.

О том, что я не должна расхочовать свои нервы, что человека, перенесшего родовую травму, травмировать больше нельзя, у нас в доме знали все. Это провозглашалось мамой и папой почти ежедневно. И я научилась искусно пользоваться своим «родовым состоянием».

Речь, разумеется, идет о том времени, когда фундамент моего здоровья, закладываемый, как говорил папа, в материнском чреве и разрушенный в первый момент появления на свет, был фактически уже восстановлен. Но я делала вид, что он все еще находится, так сказать, в процессе восстановления. Болезнь представляла мне немалые льготы. И я с ними расставаться не торопилась.

Мое настроение все обязаны были учитывать. Как только родители не хотели выполнять какие-либо мои просьбы, состояние моего здоровья трагически ухудшалось: я начинала спотыкаться на ровном месте и невнятно произносить слова. Мама и папа впереводку уверяли, что у них и в мыслях не было наносить удар по моему душевному состоянию. И только бабушка все понимала. Она жалела родителей: «Ничего страшного!» Но не выдавала меня.

Когда мне исполнилось тринадцать лет, а меня влюбился самый перспективный из начинающих хулиганов нашего двора—Федька-След. Прозвизг он получил потому, что каждую свою угрозу сопровождал предупреждением:

— Я тебе по любому следу найду!

Как можно отыскать конкретного человека к полюбу у следу—это было Федькиной тайной.

Я тогда еще не совсем оправилась от своей травмы. И если кто-нибудь позволял себе хотя бы усмехнуться по поводу моего невольной похочки или не вполне складной речи, Федька тут же обещал отыскать этого человека «по любому следу».

Родители одного из тех, кому он уже отыскал, истерически сообщили об этом моим родителям.

— Почему он ищет за тебя?—напрямую спросила мама.

— Влюблен. Вот и все.

— Вот и все?!

Узнав о моем первом женском завоевании, мама очередной раз возликовала. Она всегда беспокоилась о том, могут ли у неполноценных ног ее дочери быть поклонники. Утешая себя, мама говорила, что в моих недугах, бесспорно, есть некоторая пикантность, интригующая непохожесть.

— Разумеется,—привычно соглашалась с ней папа.—Отклонение от нормы—это самобытность, оригинальность.

Хотя пилулами, массажами и консультациями профессоров они все же старались лишить меня той интригующей самобытности, в которой, как в борозде Черномора, таилась моя главная сила.

На примере Федькиной страсти я поняла, что истинные чувства действительно понятны без слов: он ни разу не обмолвился о своей слабости. Но свою силу устремил мне на помощь: почти все мальчишки во дворе оказались избитыми.

— Мы можем быть спокойны: ничто человеческое не обойдет Верочку стороной!—восхищалась мама—Бесспорно... Теперь уже окончательно и бесспорно!

— Это взаимное или одностороннее чувство?—вополголся заинтересовался папа.

— Одностороннее,—ответила я.

— Всегда стремись к этому! Одностороннее движение даже на улице безопаснее,—поощрила меня мама.—Пусть лучше он и...—Она взглянула на папу.—Пусть лучше они вкладывают эмоции и выкладывают свои нервные клетки!

Когда я вышла в другую комнату, бабушка еле слышно сказала:

— Почему надо так восхищаться? Это же оскорбительно.

— Человек, в котором подозревают какую-либо неполноценность,—тоном экскурсовода начал разъяснять папа,—всегда хочет опровергнуть подобное мнение. И это—сильнейший стимул!

— А в ком подозревают неполноценность?—уже обычным голосом, не боясь, что я услышу, и продолжая свой метод лечения, спросила бабушка.

Мамина мама, узнав о Федькиной страсти, сказала по телефону, что в мои годы она еще никому не позволяла «себя любить».

— К сожалению, о-о-о, драчу-у,—сказал папа таким

тоном, будто речь шла о женихе, которому придется отказаться от дома — Драчу, к сожалению.

— Разве Айвенго или, допустим, герои... «Всадника без головы» не были драчунами? — вопросом ответила бабушка. — Они, насколько мне помнится, оставались без головы, потому что дрались за честь. И Федька не лезет в бой просто так... Ничего страшного!

— Плохой человек не может полюбить в столь раннем возрасте. И с такой силой! Анисия Ивановна, как всегда, абсолютно права, — вступила в разговор мама.

Папа сник, поскольку мамыны аргументы были для него неопровержимыми. Меня это порой раздражало. Но в данном случае я согласилась с мамой. Однако, когда через несколько дней обнаружилась очередная Федькина жертва и ее родители не пожелали молчать, папа, как бы беря реванш, заявил:

— Надо с ним всерьез побеседовать. Побеседовать надо...

— О чем? — заинтересовалась бабушка.

— О том, что его любовь должна быть бескровной.

— Разве он кому-нибудь говорил про любовь?

— Не говорил... Но о ней знает весь двор! И Вера выглядит вроде бы соучастницей. Ведь из-за нее он угрожает... И даже в отдельных случаях бьет даже бьет!

— Это скверно, — согласилась бабушка.

Приобретенный папа выдвинул новое предложение:

— Надо побеседовать с его родителями. Все, знаете, были молодыми. Все, знаете, были... И помнят!

Тут я вошла в комнату, где происходил разговор, заплетавшейся походкой.

Увидев это, папа взметнул руки вверх:

— Я не буду беседовать. Не буду. Обещаю тебе! Только не трать свои нервы.

Я начала отходить. И преследовала к окну уже более твердым шагом. Тогда, обращаясь ко мне, папа громко продолжил:

— Пойми... его интимное чувство не должно производить шум на весь дом.

— Почему?! — вмешалась в разговор мама. — Пусть все знают, что в нашу Верочку можно влюбиться.

— Разве в этом что-нибудь сомневается? — тихо сказала бабушка. — Она имеет защитника! Ничего страшного!

— По крайней мере для нее, — согласилась мама. — Анисия Ивановна, как всегда, права! — И крикнула в папину сторону: — Просто не верится, что ты ее родственник!

Я подошла к двери, возле которой вновь дымилась не замечавшая меня женщина.

— Зачем же делить-то, Коленька? — донесся близкий к рыданию голос матери. — Я ведь скоро...

— Всех нас в два раза переживет! — отреагировала дебелия женщина.

И я поняла, что мужчина, выдавленный из любви, — ее раб.

— Что там делить? — спросила я.

Она была до того возбуждена, что выдохнула дымом в лицо:

— Что делая в суде? Имущество!..

У бабушки была старшая сестра. Ее звали тетей Маней.

— Старшая, но не старая, — объяснила мне бабушка. — Выглядит куда лучше меня: всю жизнь прожила в деревне. Воздух такой, что пить можно. И спокойная она. Ни разу криком себя не унижала.

— Как раз это опасней всего, — заключил в разговор папа. — Опасней всего... Человеку необходимо разрядиться: крикнуть, выругаться, что-нибудь бросить на пол. Иначе происходит внутреннее самосожжение. Внутреннее самосожжение происходит...

Грамоте тетя Маня научилась поздно, уже в зрелом возрасте — и поэтому очень любила писать письма. Бабушка читала их вслух, а мама и папа делали вид, что им интересно.

Мама иногда даже переспрашивала:

— Сколько... сколько она собрала грибов?

Бабушка находила соответствующее место в письме.

— Сколько она наварила банок варенья?

Бабушка вновь вводила палецком со строчкам.

Но вообще-то мама могла бы и не интересоваться этими цифрами, потому что все засоленные тетей Маней грибы и все сваренное ею варенье отправлялось по нашему домашнему адресу.

— Куда нам столько?! — ехала мама. И аккуратно размещала банки в холодильники и на балконе.

Всякий раз, когда потом грибы и варенье появлялись на столе, мама подчеркивала:

— Это от тети Мани!

Когда же к папе приходили друзья — и грибы становились «грибками», — за здоровье тети Мани провозглашались тосты. Бабушке это было приятно:

— Не зря Манечка спину гнула. Удовольствие людям!

Когда бабушка была маленькой, они с тетей Маней осыпались.

— Она, старшая, выходила меня... Не дала росто- ку засохнуть без тепла и без влаги.

— Как ты мне?

— Ты бы и без меня расцвела: тут и мать, и отец, и профессор!

— Нет... Без тебя бы засохла, — с уверенностью ответила я.

По предсказаниям бабушки, ее старшая сестра должна была «пить воздух» лет до ста, если не дольше.

Но тетя Маня стала вдруг присылать письма, в которых точным был только наш адрес. Бабушку же она называла именем их давно умершей матери, сообщала, что грибы и ягоды растут у нее в избе, прямо на полу... из щелей.

Потом ее сосед из деревни написал нам, что у тети Мани сосуды в голове стекленеют, но что сквозь это стекло ничего ясно не разглядишь. Так ему врач объяснили.

— Стало быть, у Мани склероз, — сказала бабушка. И добавила, первый раз изменив себе: — Очень уж это страшно. И воздух, стало быть, не помог.

— В молодости, чем больше родных, тем лучше, удобнее. Все естественно, прямо пропорционально, — сказала мама. — А в старости, когда наваливаются болезни, возникает нелогичная, обратно пропорциональная ситуация: чем больше родных, тем меньше покой.

— Но ведь и мы тоже можем стать пациентами своих близких, — ответила бабушка. — На кого болезнь раньше навалится, никому из нас не известно!

Мама при всей точности своего мышления как-то этого не учла.

— Никогда не кричала она. Вот и результат, — пробормотал папа. — Вот и результат.

— Что поделаешь... Надо ехать в деревню, — сказала бабушка. И вроде бы извиняясь, обратился ко мне: — Ничего страшного: вас будет трое. А она там одна.

И сразу пошла собираться.

Я почувствовала, что не может быть нас троих... без нее, без четвертой.

Я почувствовала это — и уже не нарочно споткнулась на ровном месте. От волнения я стала, сбиваясь, проглатывая слова, объяснять, что без бабушки все погибнет, разрушится.

Мама и папа панически испугались.

— Придумайте что-нибудь! — невнятно просила я их.

— Мы умоляем тебя: успокойся! — сталкивая мне в рот пилюлю и заставляя запить ее водой, причитала мама. — Выход, бесспорно, есть. Пусть тетьа Маня приедет сюда. К нам... Хотя сегодня!

— Разумеется, мы будем рады, — привычно подержал ее папа. — Мы будем рады.

С этой вестью я заспешила в коридор, где бабушка собирала вещи.

Мама и папа примчались вслед за мной.

— Тетьа Маня будет жить здесь, в нашем доме, — торжественно объявила мама. — То, что дорого вам, дорого и нам, Анисия Ивановна! Это бесспорно. Иначе не может быть.

— Я тоже поеду в деревню... Мы вместе приведем тетьу Маню.

— Пожалуйста! — с ходу разрешила мне мама. — Только не волнуйся. Тебе нельзя расходовать нервы. Никогда еще не была я так благодарна своим родителям.

А они, перепуганные моей истерикой, через день собрали консилиум.

Когда меня показывали очередному профессору, мама обязательно шепотом предупреждала, что это «самое большое светило». На сей раз «самые большие светила» собрались все вместе. Просто слепило в глазах!

Со мной беседовали, меня разглядывали, ошупывали, будто собирались купить за очень высокую цену.

Это происходило у нас в квартире, поскольку за годы моей болезни все светила стали, как говорится, друзьями дома. Мама считала это своей психологической победой, потому что к каждому профессорскому характеру ей удалось подобрать ключ.

Потом мы с мамой и папой — бабушка при этих исследованиях никогда не присутствовала — вышли в смежную комнату.

Мы ждали приговора... А получили награду. Консилиум объявил, что практически я здорова. Но что поехать на время в деревню было бы хорошо! — Это нанесло бы последний удар по ее болезни, — сказал, поощрительно поглаживая меня по макушке, один из друзей нашего дома.

На следующий день мы с бабушкой отправились наносить последний удар.

Деять с половиной часов мы ехали на поезде, а затем, от станции до Деревни, еще три часа на попутном грузовике.

Мы обе сидели в шоферской кабине.

— Ничего страшного: в тесноте, да не в обиде, — сказала бабушка.

Когда мы с грохотом въехали на главную улицу села, шофер налег спиной на сиденье и нервно заромозил: он не ожидал, что на улице будет столько людей.

Люди возвращались с кладбища... Только что похоронили тетьу Маню.

Холмик с крестом был перед оградой, возле дороги. Рядом с двумя другими крестами. На самом кладбище уже не было места.

Тетьа Маня лежала под зеленой, накренившейся крышей дуба, который был весь в зияющих ранах, нанесенных годами.

Бабушка не плакала. Она смотрела поверх могилы, — да дуб, так долго, что я тронула ее за руку.

— Что ж телеграмм-то не послали? Не дали проститься, — сказала она.

Оказалось, что сосед тети Мани, знавший наш адрес, уехал куда-то на месяц к родным. Так получилось.

— Меня пусть тоже сюда... — сказала бабушка. — Я с Маней хочу. Не пугайся моих слов. Но запомни их, ладно?

Бабушка произнесла это так мягко и просто, что я не испугалась. Хотя о смерти до той поры никогда не думала.

— Пока молода, считаешь себя бессмертной. Ты так подольше считай, подольше... А я сейчас уже как решила: когда что почувствую, сразу сюда уеду, в деревню. Поближе к этому дубу. Ты меня не удерживай.

Несколько дней мы не могли послать маме с папой письмо: не знали, как написать о смерти.

Пока мы откладывали, почтальонша принесла нам письмо от мамы.

— Соскучилась, — сказала бабушка. И стала искать очки.

Но я остановила ее, надорвала конверт и принялась читать вслух:

— «Дорогая Анисия Ивановна, добрый наш гений! Спешу написать вам лично, а Верочке пошло письмо завтра...»

Я остановилась. Но бабушка махнула рукой:

— Читай... Ничего страшного.

— «Спешу потому, что после вашего отъезда не спала всю ночь: думала, думала. Наутро поехала советоваться с профессором, — и в результате возникла ситуация, о которой мне нелегко написать. Но я бесспорно, должна это сделать. Во имя самого главного для меня и для вас: во имя Верочкиного здоровья! Я подумала — и врачи, увы, со мной согласились, — что постоянное общение со столь большим и, простите за эти слова, не вполне нормальным человеком, каким является сейчас тетьа Маня, может пагубно отразиться на Веричкиной нервной системе. Можем ли мы, имея ли право подвергать риску плоды нашего и прежде всего вашего многолетнего стеснительного труда? Можем ли перечеркнуть ваши и наши жертвы? Согласитесь: бесспорно, нет. Поверьте, что рука моя сейчас сама собой останавливается, отказывается писать дальше... И все же я обязана преодолеть эту трудность и сказать, что приезд к нам тети Мани нежелателен, а точнее, невозможен. Не могу и никогда не сумею свыкнуться с мыслью, что вы, Анисия Ивановна, вынуждены будете остаться там, в деревне, рядом с большой сестрой, но...»

Я поняла, что бабушка больше уже не нужна была маме. Ведь консилиум решил, что практически я здорова.

«Практически...» Почему-то именно это слово, возникнув в памяти, настойчиво повторялось, не уходило.

Мама не знала о смерти тети Мани — и немного поторопилась. Она имела возможность выглядеть красиво. И лишилась этой возможности. А ведь желание выглядеть красиво во всех случаях жизни —

одна из главных человеческих слабостей. Так мне казалось.

На том решающем консилиуме врачиговорили, что в деревне по моей болезни будет нанесен последний удар. Мама нанесла удар... Не по болезни: ее ведь практически и уже не было. А по моей вере в то, что люди за добро платят добром. По крайней мере близкие мне люди, которых я хотела не только любить (я их очень любила!), но и уважать тоже.

Удар этот не был последним... Я бы даже сказала, что он был первым.

Когда человек ощущает свою вину, это кое-что искупает. Но вести себя естественно он не в силах. Мама встретила нас с бабушкой слишком помпезно: цветы были во всех углах комнаты и у мамы в руках. Даже папа протянул каждой из нас по цветку.

Вспомнив про смерть тети Мани, которую она ни разу в жизни не видела, мама принялась чересчур бурно восхвалять ее человеческие достоинства.

— Это было такое сердце! Такое сердце! — повторяла она, поглядывая на пустые банки из-под грибов и варенья.

Каждым своим жестом и словом мама заглаживала тот просчет, которого могло и не быть, если бы она не поспешила, если бы дождалась нашего письма и узнала о кресте на холмике под неохватным, израненным дубом.

Мама упорно настаивала, чтобы мы ее «правильно» поняли. Но я знала: об этом просят тогда, когда поступают неправильно.

Наконец, очередь дошла до моего внешнего вида:

— Тебя узнать невозможно! Этот месяц в деревне просто преобразил тебя.

— Месяц в деревне, — вполне голосом подключился папа. — Так можно было бы назвать оду в честь твоего окончательного излечения, если бы Иван Сергеевич Тургенев уже не назвал так свою знаменитую пьесу. Если бы не назвал...

— А знаешь, какой тебя ждет сюрприз? — вновь перехватило инициативу мама. — Врачи разрешили тебе перейти в обычную, нормальную школу. Правда, на один класс ниже... Но в нормальной! Мама уже не просто «заглаживала», а старалась, чтобы мы, ошеломленные новостями, вообще забыли о ее письме.

— Все знают, что детям и родителям лучше жить врозь. Тогда сохраняются все чувства и отношения! — тоже «заглаживала» и заставлял «забыть» охрипший мужчина в судебном зале. — А лишнего мне не надо!

Судья снова вынула из сумки, лежавшей на столе, фотографию, взглянула на нее, опустила обратно и щелкнула замочком, чего я не услышала.

Мама все делала обстоятельно и серьезно. Поэтому заглаживание вины не ограничилось днем нашего возвращения из деревни. Мама сказала, что на первый урок в «нормальную» школу меня должна провожать бабушка:

— Она в переносном смысле привела тебя к порогу этой школы. Пусть так же будет и в смысле буквальном!

Взяв у бабушки фотографию тети Мани, мама увеличила ее и повесила над бабушкиной постелью:

— Она вырастила вас, как вы Верочку. Это бесспорно!

Казалось, мама подслушала фразу, когда-то сказанную мной.

Несколько раз она спрашивала бабушку, не хочет ли та поехать в дом отдыха. Бабушка не могла поехать в этот дом, как я не могла бы сесть за руль мотоцикла: отдыхать она не умела.

Но постепенно чувство вины за письмо и радость от того, что я выросла и ходила в «нормальную» школу, начали притупляться. Время лишало эти события их остроты.

Мамина мама постоянно внушала по телефону, что я должна обладать всеми качествами, необходимыми «гармонично развитому человеку».

Бабушка стремилась ликвидировать все последствия разрушений, которым я подверглась в первый день своей жизни, а мамина мама стремилась к гармонии.

— К примеру, любознательность... Великолепное качество! — раздалось из телефонной трубки. — «Любо знать» — вот откуда берет истоки это понятие.

Вскоре, однако, я убедилась: важно, что именно «любо знать» человеку.

В одну из освободившихся комнат нашего дома въехала шумливая женщина, которая, видимо, решила провести почти весь свой «заслуженный отдых» на скамейке возле подъезда. В первый же день она представила бабушке и мне, а потом стала с большой любознательностью прислушиваться к нашим разговорам. Вечером же, когда я встретила маму, возвращавшуюся с работы, и мы, поцеловавшись, направились к своему подъезду, новая соседка прегредела нам дорогу известиями, полученными в результате ее любознательности.

— Анисия-то Иванова — героиня! — сообщила она маме так, будто знала бабушку с детских лет. — Сижу целый день и всхлищаю: родить в таком возрасте! И как ты, Верочка, ее называешь — это тоже удивительно... — обратилась она и ко мне, как к старой знакомой. — Не просто мамой зовешь, а «мамой Асей». Благодарись, значит, за ее смелость: родить в таком возрасте! Я вот бездетна... Сижу целый день и завидую!

Затем, проявляя еще большую любознательность, а может, бесцеремонность, она спросила маму:

— А вы-то кем Вере приходитесь?

Мама ничего не ответила.

Она и после этого случая продолжала называть бабушку «добрым гением», но делала это уже по инерции, без вдохновения.

Как раз в ту самую пору папе почему-то пришла в голову запоздалая мысль устроить ужин для всех «светил», которые в течение многих лет были друзьями нашего дома, но уже потихоньку переставали ими быть.

— Ты прав, — ответила мама. — Бесспорно, прав: они еще могут, тыфу-тыфу, пригодятся.

— И благодарить надо, — напомнил папа. — И поблагодарить тоже.

— А как же? Бесспорно! Это само собой разумеется, — согласилась с ним мама. И поправила золотистую подкову на голове, как бы уже готовясь к приему.

Профессора-мужчины пришли с женами, а профессора-женщины, если у них были мужья, с мужьями.



ми. Приглашены были и ближайшие родственники. Собралось много людей, и все говорили о том, как они своим врачебным искусством или своим сочувствием исцеляли меня. Я поняла, что в такой ситуации не выльчилось было бы просто неудобно.

Чтоб отвлечь от себя внимание и восстановить справедливость, я поднялась с бокалом, по стеклу которого прыгали лимонадные пузырьки, и сказала, что если бы не бабушка, никакая медицина мне бы не помогла.

Я перевела стрелку — и вечер со стремительностью экспресса изменил направление.

Светила, собравшиеся за столом, не просто лечили меня — они меня «наблюдали». Во всех справках, которые я получала, так и было написано: «наблюдается» там-то, с такого-то года. Но заодно они, разумеется, «наблюдали» и бабушку, которая неизменно была рядом со мной.

Все сразу об этом вспомнили и под влиянием выпитого заговорили с нарочитой целеустремленностью.

Повзрослев, я заметила, что если у застолья есть эпицентр, есть какой-нибудь главный объект, вечер проходит успешно. Его участники не распыляются; рассеянный огонь, который редко приводит к победе, уступает огню прицельному. О главный объект, как о некий точильный камень, все шлифуют свое остроумие, глубокомыслие.

Заговори о бабушке сперва слишком бурно, наши гости стали постепенно трезветь. Бабушкино лицо, ее высокий, всегда загорелый лоб, белые, без малейших оттенков волосы да и сама неожиданность присутствия такого человека в говорливом, чересчур раскованном обществе — все это заставило перейти от застольной вельеречивости к более застенчивой искренности.

И хотя каждый поднимавшийся с места произносил слово «тосты», рюмки и бокалы не осушались, — просто беседовали о бабушке, о ее «человеческом подвиге». Так прямо и говорили: о подвиге.

Чтобы не слышать всего этого, она ушла на кухню мыть посуду, готовить чай.

Мамина мама, тоже считавшая себя гостьей, на кухню вслед за бабушкой не удалась. Она любила руководить, и невозможность проявить эту свою способность ее томила. В начале вечера она пыталась объяснить, что какой вилок и что после чего надо есть. Но к ее голосу не прислушались: застолье имело свои эпицентры — сперва меня, а потом бабушку.

В конце концов, чтобы обратить на себя внимание, мамина мама пошла на решительный шаг.

— У меня создалось впечатление, что я присутствую из открытий памятника, — внезапно заявила она.

Не все уяснили себе, что это моя вторая бабушка, и принялись возражать ей, как посторонней.

— За такое подвижничество и надо воздвигать памятники! — произнесла жена светилы-консультанта, не столько, мне показалось, думая о памятниках, сколько о том, чтобы уязвить мамину маму, которая ее раздражала.

— Памятники надо ставить при жизни, — включилась в разговор папа. — Пусть не из гранита, не из бронзы, пусть «нерукотворные». Но при жизни. Чтобы человек мог...

Мама дотронулась рукой до своей золотистой подковы, и папа умолк.

Приняв осанку владычицы, не допускавшую возражений, мама поднялась и сказала:

— А у меня «среди шумного бала, случайно»... создалось впечатление, что Верочка — круглая сирота.

Едкая мамина ирония бессильно пыталась выдать себя за юмор.

Когда вечер еще был похож на открытие памятника, папа, помня, что он цитирует маму — а цитировать ее он очень любил! — сказал о моем авторском рождении с помощью бабушки.

— Человек рождается лишь однажды. Медицина, бесспорно, со мной согласится, — задним числом одернула его мама, отрекаясь от своей давней мысли.

Она вновь перевела стрелку, — и вечер устремился в третьем направлении: за праздничным столом люди податливы и сговорчивы. Все стали пить за моих родителей. Именно пить, потому что тосты были краткими, мимолетными, а рюмки и бокалы осушались до дна.

Наступил момент, когда гости забыли уже о том, что вечер носит, тек сказать, тематический характер, что он посвящен определенному событию. Воспользовавшись этим, я незаметно вышла из-за стола и отправилась на кухню помогать бабушке.

С того вечера все изменилось в нашей семье.

Быть может, проявился и истинный взгляд мамы на отношения, которые давно возникли между мною и бабушкой. Эта истина раньше искажалась практической потребностью в бабушкиных заботах обо мне.

«Нужен тот, кто нужен? Нужен, пока нужен!..» Неужели мама руководствовалась этой философией? Нет, не философией — зачем такие красивые понятия! — а просто — напосто — выгоды?.. Мне трудно было понять все это. Но я видела: то, что раньше ставилось бабушке в заслугу, теперь вызывало упор.

Мама создавала в доме удобную себе атмосферу. И делала это успешно, ибо была специалистом в области «окружающей нас среды».

О бабушкином «подвиге» старались не вспоминать: «Хватит уже!»

Но ведь так можно забыть о любом подвиге, сперва воспользовавшись его результатом? — думала я.

Я вспомнила бывшего фронтовика с протезом вместо ноги, которому в парикмахерской не хотели уступать очередь, хотя возле кассы было написано, что «инвалиды имеют право». Неужели и его подвиг кем-то забыт?

Люди не должны жить минувшим горем, — думала я. — Но тех, кто спас их от горя, они обязаны помнить!

Как иные историки стараются не вспоминать неудобные им события — и тогда становятся непонятным, что из чего «простоискло», — так и мама старалась перечеркнуть мою «родовую историю»: я всегда была здоровой, нормальной, училась в обычной школе.

Вместе с тем мама невзначай вспоминала, что именно бабушка повезла ее в тот родильный дом, где акушерка замешкалась и где произошло то самое знаменитое кровоизлияние «ограниченного характера».

— Бесспорно, никто здесь не виноват, — объяснила мама. — Но надо же... Такая трагическая случайность. Сколько в городе родильных домов!

Я продолжала называть бабушку «мамой Асей». Не для того, чтобы дразнить маму, а просто потому, что привыкла и по-другому уже не могла.

Решив с этим покончить, мама вернулась к проблеме моего второго рождения.

Для начала она попыталась доверительно, «как с родной дочерью», поговорить со мной. Но интим-

ные беседы у мамы не получались: слишком ясно обозначались в ее тоне и голосе повелительные, жесткие ноты.

— Я имею дело с природой. Можно сказать, защищаю ее!— сказала мне мама.— И у себя дома тоже хочу выступить из защиты ее законов. Пойми, их нельзя похотеть. Человек рождается лишь однажды и матерью должен называть лишь одну— родившую его!— женщину. Иначе в родственных отношениях возникает хаос. Нарушаются законы семейной природы...

— Эти законы нельзя менять в зависимости от выгоды!— ответила я.— Ты же сама, первая... сказала про «второе рождение». Когда тебе было нужно. Вспомни!

Но именно вспомнить маме меньше всего хотелось.

— Раньше ты говорила об этом втором рождении... продолжала я... в романтическом смысле, а теперь нарочно говоришь только в физиологическом.

— Какой словарный запас! Ты совершенно здорова! — в ответ воскликнула мама.

Вскоре бабушка, как раньше, сама погросила, чтобы мамой я называла только маму, а ее называла бы бабушкой:

— Так будет лучше.

Но я и ее не послушалась.

Месяцы, поспешно соединившись, становились годами... В обыкновенной школе я одерживала необыкновенные, если учесть мое «родовое прошлое», успехи.

— Деятели мировой культуры, детство которых прошло в неблагоприятных условиях,— тотом эскуоро объяснял папа,— потом становились особо выдающимися зрелыми: духовный голод вызывал повышенный духовный аппетит. Повышенный аппетит... Что-то похожее происходит с тобой.

Впечатления детства, когда я была отсталой, и впечатления отрочества, когда я стала передовой, как-то переплелись. Я уже не могла провести между ними четкой границы... Как и в своих воспоминаниях, которые, словно высказывая из засады, атаковали меня в коридоре суда. То, что я помнила сама, беспорядочно перемешалось с тем, что я слышала от родителей и от бабушки.

Я знала, что самая острая борьба— это борьба за существование. В ней порою не выбирают средств... Мама боролась за свое существование в качестве моей единственной матери. И средств в борьбе за эту монополию не выбирала.

На беду, с годами у меня стало появляться все больше тайн. Взрослым часто свойственно из лучших намерений, в «воспитательных целях», выдавать секреты своих воспитуемых. Бабушка не выдавала меня ни единого раза. И свои тайны я неслышно. Бабушка обладала редким умением слушать других. Редким потому, что для этого надо хоть на время оторваться от себя самого. Часто, слушая чью-либо горькую исповедь, люди сразу же применяют ее на свою жизнь, то есть думают в этот момент о своей судьбе и мысленно радуются тому, что несчастья, коснувшиеся или истерзавшие собеседника, их обошли стороной. Для бабушки же события моей биографии были гораздо важнее, чем все, что происходило в ее собственной жизни. Поэтому советы ее, ненавязчивые, застенчивые, не были замучены какими-либо личными интересами или соображениями.

Одной из моих главных тайн был Федька-След... Инерция репутаций очень устойчива, почти непродолима: хоть Федька давно уже не извергал ни грома, ни молний, его продолжали считать грозой нашего дома.

Когда однажды мама заметила из окна, что Федька прикоснулся губами к моей щеке, этот факт вошел в историю нашей семьи, как «поцелуй хулигана».

— Почему хулигана? Я сама подставила щеку!

— Бессспорно... Я этому не удивляюсь!— забыв о своей осянке, заматалась по комнате мама.— Ведь еще в младенческие годы ты узнала о том, что твоя бабушка целовалась в неполных семнадцать лет. То есть не достигнув совершеннолетия! Загрязнение окружающей среды в тысячу раз безопасней, чем загрязнение среды внутренней. Чем загрязнение юной души! Подобными вот рассказами старших...

— Не смей обижать бабушку!— твердо сказала я.— Хорошо, что ее нет дома. Не вздумай при ней...

— И ты еще будешь ставить условия?!— громким голосом неправого человека продолжала мама.— После того, что я видела? Я уверена, что это она... именно она внушила тебе в раннем детстве, что мы с папой должны развестись!

— Ты же так радовалась этой мысли?

— Я радовалась признакам выздоровления. Твоя судьба была для меня дороже личного счастья!

— Так за эти признаки... за то, что они появились... за то, что перестали быть признаками, поклонись в ноги бабушке!

— Ты с ума сошла. А профессора? А лекарства? Она разлучит нас! Бессспорно... Это случится!

Самое страшное, когда человек перестает быть самим собой. Мама в тот день перестала. А, может, наоборот... она стала со мной, поскольку моя минувшая болезнь уже не мешала ей это сделать?

Не дожидаясь, пока бабушка нас с ней разлучит, мама решила забежать вперед, принять меры. Или я несправедлива и выдаю стечение обстоятельств за проявление злой, преднамеренной воли?

Точнее сказать, речь идет об одном обстоятельстве. Об одном... Но переполнившим сосуд противоречий, который становился в нашей семье все более наполненным и тяжелым.

Когда я была в девятом классе, учительница литературы придумала необычную тему домашнего сочинения: «Главный человек в моей жизни».

Я написала про бабушку.

А потом пошла с Федькой в кино... Было воскресенье, и у кассы, прижимаясь к стене, выстроилась очередь. Федькино лицо, по моему мнению и по мнению бабушки, было красивым, но всегда таким напряженным, будто Федька изговаривался прыгать с вышки вниз, в воду. Увидев хвост возле кассы, он прищуривал, что предавало готовность к действиям, чрезвычайным. «Я тебя по любому следу найду»,— говорил он, когда был мальчишкой. Стремление добиваться своих целей немедленно и любой ценой осталось опасным признаком Федькиного характера.

Стоять в очереди Федька не мог: это его унижало, ибо сразу присваивало ему некий порядковый номер, и, безусловно, не первый.

Федька равнялся к кассе. Но я остановила его: — Пойдем лучше в парк. Такая погода!..

— Ты точно хочешь?— обрадовался он: тут уж не надо было стоять в очереди.

— Никогда больше не целуй меня во дворе,— сказала я.— Мама это не нравится.

— А я реze...

— Под самыми окнами!

— Точно?

— А ты забыл?

— Тогда уж я имею полное право...— изговил-ся к прыжку Федька.— Раз было, значит все! Тут уж цепная реакция...

Я повернула к дому, поскольку свои намерения Федька осуществлял любой ценой и на долгий срок не откладывал.

— Ты куда? Я пошутил... Это точно. Я пошутил. Если люди, не привыкшие унижаться, должны это делать, их становится жаль. И все-таки я любила, когда Федька-След, гроза дома, светился возле меня: пусть все видят, какая я теперь полн о ц е н - н а я!

Федька умолял пойти в парк, обещал даже, что не поцелует меня больше ни разу в жизни, чего я от него вовсе не требовала.

— Домой!— гордо сказала я.— И повторила:— Только домой...

Но повторила уже растерянно, потому что в эту минуту с ужасом вспомнила о том, что оставила сочинение «Главный человек в моей жизни» на столе, хотя вполне могла бы сунуть его в ящик или в портфель. Что если мама его прочтет?

Мама уже прочла.

— А кто я в твоей жизни?— не дожидаясь, пока я сниму пальто, голосом, который, словно с обрыва, вот-вот готов был сорваться в крик, спросила она.— Кто я? Не главный человек... Это бесспорно. Но все же как о й!

Я так и стояла в пальто. А она продолжала:

— Больше я не могу, Вера! Возникла несовместимость. И я предлагаю разьехаться... Это бесспорно.

— Нам с тобой?

— Нам?! Ты бы не возражала?

— А с кем же тогда?— искрение не поняла я.

— С той, которую ты...— Ее голос был на самом краю обрыва.— Которую ты, пренебрегая моими материнскими чувствами...

Всегда безупречно выдержанная мама, потеряв власть над собой, зарыдала. Слезы часто плачущего человека не потрясают нас. А мамини слезы я видела первый раз в жизни. И стала ее утешать.

Ни одно литературное сочинение, наверно, не произвело на маму такого сильного впечатления, как мое. Она до вечера не могла успокоиться.

Когда я была в ванной комнате, готовясь ко сну, пришла бабушка. Мама и ей не дала снять пальто. Голосом, который вернулся на край обрыва, не стремясь что-либо скрыть от меня, она стала говорить сбивчиво, как некогда говорила я:

— Вера написала... А я случайно прочла. «Главный человек в моей жизни»... Школьное сочинение. Все у них в классе посвятят его матерям. Это бесспорно! А она написала о вас... Если бы ваш сын в детстве... А! Нам надо разьехаться! Это бесспорно. Я не могу больше. Моя мама ведь не живет с нами... И не пытается отвоевывать у меня мою дочь!

Я могла бы выйти в коридор и объяснить, что прежде, чем отвоевывать меня, мамини маме надо было бы отвоевать мое здоровье, мою жизнь, как это сделала бабушка. И что совершить это по телефону вряд ли бы удалось. Но мама опять зарыдала. И я притаилась, затихла.

— Мы с вами должны разьехаться. Это бесспорно,— сквозь слезы, но уже твердо сказала мама.— Все сделаем по закону, по справедливости...

— Как же я без Верочки?— не поняла бабушка.

— А как же мы все... под одной крышей? Я напишу заявление. В суд! Там поймут, что надо спасти семью. Что практически разлучаются мать и дочь... Я напишу! Когда Вера закончит учебный год... чтобы у нее не было нервного срыва.

Я и тут осталась в ванной комнате, не приняв всерьез угрозы насчет суда.

В борьбе за существование часто не выбирают средств... Когда я перешла в десятый класс, мама, не боясь ужо моего нервного срыва, выполнила свое обещание. Она написала о том, что мы с бабушкой должны разлучиться. Разьехаться... И о разделе имущества, «согласно существующим судебным законам».

— Поймите: я ничего лишнего не хочу!— продолжал доказывать мужчина, выданный из тюбика.

И тут я впервые услышала голос судьи.

— Судиться с матерью—самое лишнее на земле дело. А вы говорите: не надо лишнего...— произнесла она бесстрастным, не подлежащим обжалованию тоном.

«Нужен тот, кто нужен. Нужен, когда нужен... Нужен, пока нужен!»—мысленно повторяла я слова, которые, как врезавшиеся в память стихи, были все время у меня на уме.

Уйдя утром из дома, я оставила на кухонном столе письмо, а вернее, записку, адресованную маме и папе: «Я буду той частью имущества, которая по суду отойдет к бабушке».

— Тряпка... Ничего не смог доказать. Тряпка!— твердила, обращаясь в глубь коридора, де-белая женщина.

Сзади кто-то дотронулся до меня. Я обернулась и увидела папу.

— Пойдем домой. Мы ничего не будем делать! Пойдем домой. Пойдем...— судорожно повторял он, оглядываясь, чтобы никто его не услышал.

Бабушки дома не было

— Где она?— тихо спросила я.

— Ничего не случилось,— ответил папа.— Она уехала в деревню. Вот видишь, на твоей булавке внизу написано: «Уехала в деревню. Не волкуйтесь, ничего страшного».

— К тете Мане!

— Почему к тете Мане! Ее давно уже нет... Просто в деревню уехала. В свою родную деревню!

— К тете Мане?— повторила я.— К тому дубу?..

Окаменевшая на диване мама вскопича:

— К какому дубу? Тебе нельзя волноваться! Какой дуб?

— Она просто уехала... Ничего страшного!— заклинал папа.— Ничего страшного!

Он посмел успокаивать меня бабушкиными словами.

— Ничего страшного! Она к тете Мане уехала! К тете Мане! К тете Мане, да!—кричала я, чувствуя, что земля, как это бывало прежде, уходит у меня из-под ног.

И кричит в колыбели где-то
Светлый гений грядущих лет!
Люди нового ждут поэта,
Хоть великим
И счета нет!

Бледный мальчик в преддверьи ночи
Сделал шаг в глубину ворот.
Человечество, что ты хочешь
От того, кто еще придет!!

Кино после школы

Ты ничему не подобна,
Даже луне и заре.
Можно любить допотопно
На современной земле.

Ты ведь со мною все время,
Кроме случайных минут.
И никакие сравнения
В голову мне не идут.

Что мне газели и лани,
Что кипарис и сирень!
Снова летит на экране
Женщины легкая тень.

Да все равно я незречен
В сумрачном киномире,
Если щекою горящей
Ты прикоснулась к щеке!

Глухо ударит под ребра
Сердце. За что же — бог весть!
Ты ничему не подобна,
Просто на свете ты есть.

Первое стихотворенье
Все это сводит к нулю.
После найдутся сравнения.
После. Когда разлюблю.

Юра и Майя

Надо ж —
Полюбили
После сорока!
А над ними плыли
Те же облака...

Марты и апрели.
Села — города.
Вяло листья прели,
Падала вода.

Октябрем и маем
Скрещены в судьбе,
Как мы мало знаем
Все же
О себе!

Сам я — не из ранних.
Чистая зима.
Вот ее избранник,
Вот она сама!

Боже, у порога
Счастья не прерви!
Постою немного
Около любви.

Большая Ордынка

«Большая Ордынка — и вправду большая!» —
Зачем-то подумал, по ней поспешая,
Мешая ботинками снег и песок.
Но ветер, куда-то рванувший с Полянки,
Вдруг ткнул меня теплой ладонью в висок,
И старенький дом я увидел с изнанки.

Да, дом низкорослый, с парадным фасадом
Пронзил я пытливым, искательным взглядом
И сразу попал в девятнадцатый век —
К семье в не разбитой на клетки гостиной.
Не белые стены — я время рассек
И стал очевидцем картины невинной!

Девница, склоняясь над потрепанным томом,
Читала. И было слегка монотонным
Ее толкование выспренних фраз,
В которых звучали молюба и угрозы,
Но к ней обращалось сияние глаз,
В которых стояли чистейшие слезы.

Слова проникали с таинственной властью
В сердца, не глухие к чужому несчастью,
И старец почтенный глядел в потолок,
И зрел на лепнине дымы Балаклавы,
И слышал, как плачет английский рожок
В таврийских холмах приснопалатной славы.

С ним рядом была кружевная старуха.
Не все до конца постигая со слуха,
Глядела украдкой она на детей:
Меньше — четырнадцать,
старшей — за тридцать...
Господь, не лишай их поддержки своей!
Когда нас не будет, что с ними, случится!

А мальчик, на щелочку в ставне уставясь,
К героям романа испытывал зависть, —
Уже ему делалось в доме тесно,
О долге и чести он мыслил пре красно...
Он прямо в глаза мне смотрел сквозь окно,
Но все же меня видеть старался напрасно.

И замер я, добрым отмеченный даром, —
Шататься бесцельно по улицам старым,
Но в очи юнца, не мигая, смотрел.
Вдруг лампа стрельнула короткою вспышкой,
И дернулся в кресле огромном пострел,
И вздрогнула девушка с пухлою книжкой!

Но это продлилось одно лишь мгновенье —
Запнувшись, девица продолжила чтение,
Старик и старуха настигли опять
Покинутых в кратком раздумье героев,
И снова теченье сюжета внимать
Принялся мальчишка, внимание утроив.

«Большая Ордынка и вправду большая!» —
Я двинулся дальше, ничем не мешая
Любимому предкам чтенью с листа.
Былое глаза мои видеть устали —
Замкнулся фасад, и тотчас на места
Колонны, под мрамор крапленные, встали.

«Большая Ордынка и вправду большая!» —
Я думал печально, себя утешая
Надеждой простой, размышленьем одним,
Что счастье былое не властно над нами,
И мы, слава богу, не властны над ним,
Хотя и причастны к нему временами.



АНАТОЛИЙ
АЛЕКСИН



ПОВЕСТЬ

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

«В

ы можете разорвать мое письмо, не прочитав его. Разрешите все же мне, как виновной, произнести последнее слово. Выслушайте меня! Я знаю, за уроки, за опыт надо «платить». Но я заплатила за свой опыт чужой жизнью. Это преступление... Я понимаю. И, поверьте, проклинаю тот день, когда в длинном списке, напечатанном на машинке, увидела свою фамилию — и подумала, что свершилось главное счастье: я принята в университет. На самом-то деле... Разве может подобная строчка решить судьбу человека? За фактом следует другой, за праздником — болезнь, а за строчкой — следующая, быть может, совсем иная. Выслушайте меня!»

Когда тот список наконец прикрепили к доске объявлений, а спина лаборантки из деканата перестала загоразивать его и я узрела свою фамилию в числе «принятых», мне уже не слышны были чужие вздохи, не видны слезы. Я скатилась по лестнице, зная, что внизу меня ждет Павлуша. Если бы даже случилось землетрясение, я все равно увидела бы его возле университетских дверей.

— Все в порядке! — провозгласила я.

Он протянул мне букет, хотя остальные родители ничего, кроме волнений, с собою не принесли.

— Я тоже хотел подняться. Но вдруг бы мы разминулись?

Он всегда казался виноватым, когда преподносил что-нибудь мне или маме. А так как преподносил он почти каждый день, у него постоянно было лицо извиняющегося человека. «Или просто интеллигентного», — сказала мне как-то мама.

— Спасибо за цветы, — дежурно отреагировала я. Трудно благодарить от души ежедневно. Все, наверно, может стать будничным: и заботы и готов-

ность пожертвовать за тебя жизнью. Непростительные чувства... Но Павлуша другого отношения к себе и не ждал.

— Гладиолусов не было. Только гвоздики... Прости меня, — сказал он.

И мы направились к такси, которое, судя по счетчику, уже давно дожидалось моего появления.

— Вечером поедем в Дом художника? — сказал он. — Или журналиста...

— Журналиста? — переспросила я. — Будет пресс-конференция?

Он был вторым маминим мужем. Но на самом деле единственным, потому что первый, по мнению мамы, званый мужа и отца не заслуживал. Мама раз и навсегда присвоила ему титул: «эгоист». Она называла его так не со злобостью, а, я бы сказала, с грустью, задумчиво, как бы сравнивая в этот момент с Павлушей.

— Он ни разу ничего не подарил тебе, — печально сообщала мама. — А ведь ты и сейчас обожаешь кукол!

Дарить мне кукол отцу было трудно: он работал инженером-нефтяником в каком-то сибирском поселке, где вряд ли был магазин игрушек.

Отец звонил в день моего рождения, то есть один раз в году. Раздавались анархичные междугородные звонки, и мама говорила:

— Он вспоминал!

Отец поздравлял, спрашивал, как я учусь.

— Отметился, — не с осуждением, а с грустью произносила мама, жалея, мне казалось, отца, который лишил себя счастья отцовства. И благодарно поворачивала голову в Павлушину сторону.

— Я сделал что-то не то? — гугался Павлуша.

Он был высоким, полным — и от этого подвижность его проявлялась очень заметно. Он управлялся со своей тяжестью, как крупный юный музыкант управляет с громоздкой виолончелью, созданной вроде бы не для него. Пухлое лицо, наивно оттопыренные губы диссонировали с густой мужской сединой. Все эти неожиданные сочетания создавали образ. Который нам с мамой был дорог...

Отца моего мама нарекла «эгоистом», а Павлуше навсегда дано звание «семейнин».

Расписание приехавших экзаменов он знал наизусть. И перед каждым из них спрашивал меня по билетам, которые достал откуда-то из-под земли. Я любила, когда Павлуша доставал что-либо «из-под земли», потому что знала: именно там, под землей, таится самые главные сокровища, именуемые полезными ископаемыми.

Называть его отцом я не могла, так как это слово, ассоциируясь с моим родителем, приобрело у нас в семье отрицательное звучание. Кроме того, мама однажды произнесла фразу, которую запомнили все... Указав на Павлушу, она сказала:

— Он — не отец, он — мать!

Павлуша от растерянности стянул с носа очки: получилось, что он посягнул на мамину роль в моей жизни.

Не подходило к нему и холодное слово «отчим». Я стала называть его просто Павлушей. Это панбратство входило в некоторое противоречие с тем, что я обращалась к нему на «вы». Но все на свете с чем-нибудь входит в противоречие.

На «ты» я по необъяснимым причинам перейти не могла.

— Чувства благодарности не утаит! — с грустью сказала мама, жалея меня за эту «нехватку». — Отцовские гены!

...Определяющими свойствами Павлуши были безотказность и обязательность, а главным маминим качеством была беззащитность. Слабость, я думаю, являлась той силой, которая и притянула к ней забытого Павлушу.

Даже в затопленном помещении мама куталась в пуховый платок: ей всегда было холодно и немного не по себе. Она как бы давала Павлуше повод устремлять ей навстречу максимальное количество «внутреннего тепла». А то, что он представлял собой незаданный на земле источник такого тепла, мы с ней чувствовали в любую погоду.

Улыбка у мамы была до того женственной, что все вокруг начинали ощущать настоятельную потребность в отчаянных мужских поступках. Она никого не осуждала, а лишь сожалела о людских несовершенствах, как, например, о латинском эгоизме.

Голос у нее был мягкий, в телефонной трубке он расплывался, как воск, и приходилось по многу раз переспрашивать ее об одном, а потом же.

Мама была искусной чертеницей. Но доска ее уже много лет находилась дома, возле окна, потому что Павлуша не любил, чтобы мама куда-нибудь отлучалась. Он не говорил об этом, он молча страдал. А мама дорожила его здоровьем и стала «надоминицей».

Зная, что Павлуша молчаливо-ревнив, она в общественных местах усаживалась так, чтобы глаза ее по возможности не встречались с глазами посторонних мужчин. И в Доме художника она тоже села лицом к стене... В ответ на угодливые вопросы официанта мама кивала в сторону мужа: дескать, он знает. И он в самом деле безошибочно определял, что нам с ней хочется.

«Для дома, для семьи», — называли его мамини подруги. И всегда с безнадоечным укором бросали взгляд на своих мужей.

Мама подчеркивала, что нельзя привыкать к добру, что надо неустанно ценить его — и тогда оно не исчезнет.

— Спасибо, Павлуша, — сказала я. — Еще раз спасибо.

— Нет, — возразил он, с наслаждением наблюдая, как мы едим, — подарок еще впереди!

Он любил, чтобы мы получали удовольствие от еды, от спектаклей, от фильмов.

— Уметь жить чужой о радостью — самое редкое искусство, — уверяла мама. — Он им владеет.

Я соглашалась... Но так как мне, в отличие от Павлуши, нравилось жить своей собственной радостью, я, наполняя тарелку, спросила:

— А что еще... вы собрались мне подарить?

— Собственно говоря, это и не подарок, — ответил он. — Ты должна получить то, что тебелагается.

— А чтолагается?

— Отдых, — ответил он. — Обнаружилась горячая путевка! Ты едешь в «Березовый сок».

— Куда?

— Так называется санаторий. А вот и еще сюрприз!

К нашему столу приближалась немолодая блондинка... Прежде она, наверное, была стройной, но удержалась в этом состоянии не смогла. Было заметно также, что рестораны она посещала не часто: слишком уж незаметной была ее походка, а грим на лице и прическа напоминали мне почему-то обликовку капитально отремонтированного дома. Павлуша, привычно вступив в конфликт со своей тяжелой фигурой, вскочил и подставил женщине стул.

— Ольга Борисовна, — объявил он. — Изумительный терапевт!



— Ну, что вы?! — зарделась она, нарушая продуманный цвет лица и с любопытством оглядывая зал Дома художника. Я понял, что завтра она будет рассказывать о нем в своей поликлинике.

— Ты, как я понимаю, Галя? — спросила женщина, чтобы сказать нечто, не относящееся к ресторану и еде.

— Галя, — ответила я.

— У тебя усталое лицо. Ты давно не будешь?

С этой минуты сладкий запах ее духов стал казаться мне запахом карболки: Ольга Борисовна погрузила наш стол в атмосферу врачебного кабинета.

— Простите, что опоздала, — сказала она.

— Я понимаю, — с глубоким сочувствием произнесла мама. — Прием больных, вызовы на дом!

Я, всегда отличавшаяся большой непосредственностью, спросила:

— А вы часто заражаетесь? Все время среди инфекций!

Мама зарылась в пуховый платок: ей стало не по себе. Но маминим здоровьем Ольга Борисовна не заинтересовалась. Она знала, что целью ее внимания должна быть я. И ответила:

— У нас вырабатывается иммунитет. А твой вид меня настораживает.

— В детстве ее не покидали ангины, — благодарно продолжая начатую Ольгой Борисовной тему, сказал Павлуша. — А от них — кратчайшее расстройство до порока сердца.

— Это мы проверим, — деловито пообещала Ольга Борисовна.

И я подумала, что сейчас она полезет столовой ложкой мне в рот. Но она зачерпнула ею салат.

Оказалось, что «Березовый сок» — санаторий кардиологический, то есть «сердечный». А я, хоть от ангины до порока сердца всего один шаг, как назло этого шага не делала.

Раньше я знала, что карты бывают географические, иральные, топографические. Оказалось, есть еще и курортные.

На другой день Ольга Борисовна, освободившая-

ся от признаков капитального ремонта, сказала мне уже в настоящем врачебном кабинете:

— Все-таки бесследно эти ангины пройти не могли. Дай-ка я послушаю тебя... А потом заполним курортную карту!

Она стала прикасаться холодным металлическим кружком к моему телу. Я по ее команде то дышала, то прекращала дышать.

— Не старайся казаться тяжелоатлеткой, — попросил меня утром Павлуша. — На что-нибудь там... пожалуйся.

— Вы предлагаете мне симулировать? — с обычной непосредственностью спросила я.

— Он никогда не посоветует чего-либо дурного, — мягко напомнила мама.

— Положись на Ольгу Борисовну, — порекомендовал мне Павлуша.

И когда она сказала, что сердечные удары у меня «глуховаты», я подтвердила, что и сама не раз слышала это.

Павлуша сопровождал меня до самого санатория. Он вел себя так, будто диагноз, написанный рукой Ольги Борисовны в моей курортной карте, полностью соответствовал действительности: не разрешал поднимать чемодан, уложил меня на нижнюю полку, а сам забрался на верхнюю.

— Ехать около шести часов. Ты спи: тебе необходим отдых, — свесившая с верхней полки свое массивное тело, заботливо произнес Павлуша. — И ни о чем не волнуйся: я тебя заранее разбужу.

Проводница сообщила, что на станции, где находится «Березовый сок», поезд стоит всего две минуты.

— Мы успеем. Я вынесу чемодан заранее, — успокоил Павлуша.

Он все делал вовремя или немного «заранее». Я заснула.

Мне приснился сон, который навязчиво преследовал меня всю неделю: нужно было сдавать экзамены, которые были уже благополучно сданы. Я проснулась с сердцембиением, вполне подходившим для кардиологического санатория.

Павлуша тревожно наблюдал за мной с верхней полки:



— Что тебе такое приснилось? Ты спотыкалась.

— Война, — ответила я. И снова заснула.

В санатории Павлуша сам отдал путевку и мой паспорт в регистратуру. Убедился, что меня поселят в комнату на двух человек, и, успокоенный, пошел обратно на станцию, чтобы пораньше вернуться в Москву:

— Мама ждет! Если получилось что-то не то, извини. Горящая путевка! Другой не было...

«Березовый сок» находился в пяти километрах от города, который называли областным центром. В этом городе я никогда не была.

— Из областного центра привезли лекарства, — слышала я. — Из областного центра привезли фильм...

По березовым аллеям, окружавшим санаторий, не спеша, предписанным медициной шагом прогуливались люди более чем зрелого возраста.

Встречаясь со мной, мужчины делали походку более уверенной и дружинистой. В санатории сразу произошло некоторое оживление.

— Болезнь вас, мужчин, не исправит, — услышала я за своей спиной укоряющий женский голос. — Нет, болезнь не исправит... Только могила!

— Не огорчайтесь так откровенно! — возразил ей игривый тенор, старавшийся звучать баритоном.

Меня посадили за стол к «послеинфарктникам»: там было свободное место.

— Мы с вами и в комнате вместе! — восторженно сообщила за обедом женщина лет сорока пяти, которая до моего приезда, вероятно, считалась в санатории самой юной.

Лицо у нее было худое, темные глаза воспаленно блестя. Она пыталась выдать свою болезненную лихорадочность за признаки оптимизма.

— Нина Игнатьевна! — представилась она. И пожала мне руку так, будто мы уходили в разведку. Рука у нее была сухой и горячей.

До столика добрался согбенный, седой старичок, опирающийся на палку, как на последнюю надежду в своей жизни.

— Такая молодая?.. сочувственно вздохнул он, увидев меня. — А вон и холостяк движется...

— Такая молодая! — провозгласил мужчина, со-

четавший объемистую фигуру с молодецкой выправкой. Он был в спортивном костюме и махровом халате, накинутом сверху, а в руках, как нечто значительное, нес бутылку минеральной воды, обернутую салфеткой.

Мужчина по-гусарски сбросил халат на спинку стула, приблизил к себе приборы, и я увидела, что на ногтях у него маникюр. Приятный запах мужской аккуратности, деликатного одеколона поборол запах диетических щей.

— Вы приспаны к нам в качестве больной или эффективно действующего лекарства? — поинтересовался тот, кого называли «холостяком».

— Онегинский тон... — пробурчал старичок, уткнувшись в тарелку. Он орудовал ложкой как-то по-крестьянски, словно она была деревянной. — А вы сразу будьте Татьяной Гремминой, — порекомендовал он мне. — Потому что Ларину Геннадий Семенович задавит величием и нотациями. — Он оторвал глаза от щей и поднял на «холостяка». — Так!

— Минута Ларину, в Греммины не проскочишь, — возразил Геннадий Семенович. А мне посоветовал: — И не старайтесь!

Все называли меня на «вы». В этом, как и в моем обращении к Павлуше, была неестественность.

— Атака продолжается? Век нынешний наступает на век минувший! — Обратившись ко мне, Геннадий Семенович пояснил: — Профессор Печонкин, известный специалист в области кибернетики, понимает, что я со своими лекциями о классической музыке могу лишь поднять руки вверх.

Облокотившись о стол, он скорее развел в стороны, чем поднял, холерные руки, в меру покрытые растительностью, с отлакированными ногтями.

— За ними надо записывать! — восторженно заявила Нина Игнатьевна. — Диспут профессоров!..

— Не удивляйтесь, — сказал Геннадий Семенович, поглощавший щи как-то незаметно, будто он и не ел. — Нина Игнатьевна — директор лучшего в городе Дворца культуры. Так что диспуты — это ее стихия.

— Я работаю в клубе, — не меняя восторженного выражения лица, возразила она.

— Лучше называть дворец клубом, чем клуб дворцом. Так? — хрипловато поддержал Нину Игнатьевну профессор Печонкин.

Желая объединить наш стол в дружеский коллектив, Нина Игнатьевна сообщила, что Геннадий Семенович и Петр Петрович дали согласие выступить у нее в клубе.

— Через полмесяца будет годовщина освобождения нашего города от фашистских захватчиков,— сказала она.— В этот день Геннадий Семенович выступит с лекцией «Музыка Великой Отечественной». И сам будет иллюстрировать... на роле.

— Уже кончился срок вашей путевки? — спросила я у нее с сожалением, потому что быстро привыкала к людям.

— Нина Игнатьевна лечится без отрыва от производства,— ответил Геннадий Семенович. Он накапал в рюмку из пипетки желтоватое лекарство. Шеллеш губами, взяла на учет каждую каплю, потом смешал лекарство с минеральной водой. И выпил.

— Геннадий Семенович будет первопроходящим. Так? — сказал профессор Печонкин.— А уж я отправлюсь по проложенной им дороге.

— Петр Петрович расскажет о последних открытиях в кибернетике! — похвалила Нина Игнатьевна. Фразы она произносила с таким подъемом, и глаза ее при этом так лихорадочно блестели, словно она устремлялась на штурм неприступной крепости.

Наша комната расположилась на третьем этаже. Две кровати, тумбочки между ними, два стула, шкаф, умывальник... И чистота. Я ощутила себя в родной обстановке: маму называли «уютной женщиной» — и она доводила чистоту до стерильности, будто жила в операционной. Гости сами, не дожидаясь намеков, снимали в коридоре туфли, ботинки, надевали тапочки, а если их не хватало, шлепали по комнате в чулках и носках.

Ствол березы как бы разделял окно комнаты ровно на две половины. Кто-то, отдышавшийся раньше, дотянулся до ствола и вырезал на нем: «Феоктистов».

— Сердца собственного не пожалел,— сказала Нина Игнатьевна.— Представляете, какое выдержал напряжение! Тщеславие человеческое надо всегда учитывать. Я по своему клубу знаю. Попробуй-ка не так представь со сцены артиста: звание его перепутай, забудь титул! Бывает, лишаются голоса: аккомпанемент звучит, а артист нет. Я за этим очень слежу! Зачем обижать людей? Раз им хочется...

— У вас был инфаркт? — спросила я.

— Думаю, что электрокардиограммы преувеличили. Но надо им подчиняться. Профессор Печонкин утверждает: ошибаются те, у кого есть сердце и разум. Из-за них-то и возникают варианты, разночтения. А машина ошибаться не может. Тут она беспощадней людей. Не умнее, говорит, а беспощадней... Крупнейший ученый!

— И Геннадий Семенович — тоже «крупнейший»?

— В своей области. Я слышала в Москве его лекцию «Музыка, музыка, музыка...». Часа два со сцены не отпускали! Он у нас в клубе выступит. В день освобождения города от фашистских захватчиков! Для ветеранов... Это будет событие. Я уже все продумала: ветераны прямо из зала называют любимые музыкальные произведения военной поры, а он рассказывает историю их создания... И иллюстрирует на роле! — Она вновь пошла на штурм крепости: — Этот санаторий — главная, если так можно сказать, интеллектуальная база моего клуба. Тут лечатся знаменитые деятели науки, культуры! Я их всех через свой клуб пропускаю.

— Врачи не сердятся?

— Наоборот, одобряют! Чтобы восстановить здоровье, надо ходить... Вот деятели и ходят: пять

километров туда и пять километров обратно. Огромная культурная помощь городу!

— А профессор Печонкин не любит Геннадия Семеновича? — с не покидавшей меня прямолинейностью спросила я.

— Они не могут друг друга не уважать,— сказала Нина Игнатьевна.— Два таких человека! Они дискутируют... Как раз потому, что есть разум и сердце! У них, например, разные точки зрения на то, как человек должен строить свою личную жизнь.

— И как же ее строит Геннадий Семенович?

— Он холостяк.

Мне показалось, что Нина Игнатьевна испытующе взглянула на меня.

Незамужние женщины при слове «холостяк» внутренне вздрагивают. Но я не вздрогнула. И Нина Игнатьевна успокоилась. Однако все же сказала:

— Разрешите мне в течение всех этих дней быть вашей матерью. Обергать вас... Здесь это необходимо.

— Почему?

— Санаторий А вы слишком молоды.

— Боитесь, что я настрою Геннадия Семеновичу «Онегин» необдуманно письмом?

— Профессор Печонкин считает всех холостяков эгоистами,— вместо ответа сообщила она.— «Жизнь на одного!» — говорит он. Я рассказываю, потому что Петр Петрович и при вас это обязательно повторит. Он не совсем прав. Все любит себя... Но это ведь не мешает любить и других.

— Кому не мешает, а кому и мешает,— ответила я. Она взглянула на меня с удивлением. — А у самого Печонкина большая семья?

— Одних внуков и правнуков — девять. Он обязательно сообщит вам эту цифру.

— Девять Печонкиных, не считая сыновей и дочерей? Он всех помнит по именам?

— У него вообще память прекрасная: кибернетик! — сказала она. И добавила: — У меня еще одна просьба. Вернее, вопрос. Ко мне из города часто приходит сын. Гриша... Он учится в шестом классе. Это не помешает?

— Да что вы?! Пусть приходит. А муж у вас есть?

Не услышав вопроса, она поблагодарила за Гришу:

— Отлегло от сердца... Спасибо. Теперь у меня временно будет двое детей.

Я подумала, что, если бы у людей почаще отлегло от сердца, меньше было бы на свете инфарктов.

На следующий день она объяснила почти всем мужчинам в санатории, что они мне годятся в отцы или деды.

— Я лично не могу быть отцом, потому что я холостяк,— возразил Геннадий Семенович.

Из всех обитателей санатория «Березовый сок» только Гриша был моложе меня.

В санатории к нему все присыпали. И спрашивали у Нины Игнатьевны:

— Где ваш сын?

— Скоро придет.

Он действительно приходил.

Глаза у Гриши были такие же восторженные, как у его матери. Только без лихорадочного оттенка.

Во время «мертвого часа» Гриша носился по опустевшим бесшумным аллеям. Он собирал грибы и надевал их на мушкет. После ужина Нина Игнатьевна провожала сына в город и возвращалась обратно: ей тоже полезно было ходить.

Потом Гриша перестал бегать по аллеям и искать грибы: он начал искать меня. А обнаружив, не от-



рылся ни на шаг. Это раздражало Геннадия Семеновича:

— У ребенка должны быть свои интересы!

Какие интересы были у самого Геннадия Семеновича, я не догадывалась, но Нина Игнатьевна объяснила мне:

— Они оба в вас влюблены.

Гриша заваливал меня земляникой и полевыми цветами. Геннадий Семенович же предлагал заморские таблетки и капли, с помощью которых намеревался «спасти» мое сердце.

Но так как спастись мне было не от чего, я однажды сказала:

— Это, наверно, для вашего возраста?

Геннадий Семенович не растерялся.

— Даже «Кармен» и «Травиату» были оценены не сразу. Я тоже не рассчитываю на молниеносный успех. Правда, Верди и Бизе не были ограничены сроками санаторной путевки.

У Гриши перед Геннадием Семеновичем имелись явные преимущества: он не должен был отлучаться на процедуры. Сопровождая меня, он не останавливался то и дело, чтобы определить пульс, и не возражался в санаторий, чтобы проверить кровяное давление. Поскольку с давлением и пульсом у шестиклассника все было в порядке, он не отклонялся от своего «главного увлечения». А главным увлечением Геннадия Семеновича являлся все же он сам.

Так уверял профессор Печонкин... И я начинала с ним соглашаться. Но Нина Игнатьевна воспротилась:

— Желать себе выздоровления — это не порок. Это естественно! Драматичность инфарктов именно в том, что после них надо к себе прислушиваться. Контролировать свое состояние! И хоть у Геннадия Семеновича был микроинфаркт, его обвинять нельзя.

— Вы пойдете на его лекцию? — спросил меня Гриша.

— Конечно! Это ведь будет праздник: день освобождения твоего города, — ответила я.

— Он его не освобождал, — ответил мальчик. Опустил голову и пошел ужиматься.

Нина Игнатьевна была опечалена внезапно вспыхнувшей страстью сына:

— Я знала, что они влюбляются в учительницу...

— И в отдыхающих тоже! — успокоила я.

— Мы с вами не должны обнаруживать, что догадались, — взмолилась она. — Гриша очень раним! Увидев как-то очередной букет полевых цветов у Гриши в руках, она сказала:

— Он любит дарить цветы. Всегда после концерта или лекции в моем клубе поднимается на сцену и преподносит...

— Тут не сцена! — ответил Гриша. И убрался.

Я, таким образом, покорила всех: от шестиклассника до профессоров, уже получивших инфаркт. Это было триумфальное шествие.

— Хоть выпивайся из санатория! — сказала Нина Игнатьевна. — Я поручу Грише готовиться к лекции Геннадия Семеновича. К нашему празднику... Пусть собирает фотографии, разносит по домам ветеранов пригласительные билеты. Так он немного отвлечется.

Гриша стал будить ветеранов ни свет ни заря — и уже к завтраку прибегал в санаторий.

— Печонкин и Грушницкий решили похожую проблему кардинальным путем, — сказал Геннадий Семенович за обедом профессор Печонкин.

Гриша еще не читал «Героя нашего времени» и рассмеялся: быть может, фамилия Грушницкий показалась ему необычной.

— Я очень надеюсь, что ваших внуков и правнуков воспитывают другие члены семьи, — утратив свое вальное добродушие, ответил Геннадий Семенович.

Нине Игнатьевне этот диалог был неприятен. И она, взяв Гришу за руку, увела его, оставив без третьего блюда.

— Первые дни вашего санаторного бытия, наверно, кажутся вечностью! — спросил меня Геннадий Семенович.

— Как вы это почувствовали?

— В детстве каждый день и каждый год тоже кажутся бесконечными, — пояснил он. — Потому что в этом возрасте — вавилонское столпотворение впечатлений. Все незнакомо: события, люди. А потом, в мои годы, от одной встречи Нового года до следующей вот такое расстояние... Он указал на от-

лакированный ноготь. Привычность происходящего убывает факт времени. Только неадекватная и неожиданность фактов создают впечатление протяженности. Так и в санатории: первые дни — это детское восприятие, а последующие... Мой поезд уже мчался с бешеной скоростью, а я даже в окно не поглядывал: все пейзажи были известны заранее. И вдруг... вы! Кажется, я продлю путешествие до состояния здоровья.

— А что у вас... теперь?

— Сердце! — перемешивая иронию с глубокой проникновенностью, ответил он.

Ирония неожиданно сближала его с мальчишками моего далекого четвертого класса, которые, скрывая чувства, толкали меня в спину на перемене. А проникновенность отдавала от них.

Геннадий Семенович всегда нарочито подчеркивал возрастной разрыв, существовавший между нами. Этим он объяснял и повышенное внимание к своему пульсу, поглощение каплей и пилюль в таком количестве, что я порежалась, как он не путал все свои многочисленные коробки, баночки и пузырьки.

«Сейчас, когда мне уже сто лет», — говорила одна пожилая и некогда обоим родственная мамин подруга. «Когда уже сто лет... Такое саморазоблачение, отчаянная гипербола молодили ее в глазах окружающих. Геннадий Семенович действовал тем же способом.

Если ему удавалось остаться со мной наедине, а это случалось после вечерних киносеансов, когда Гриша был уже в городе, рядом сразу же возникала Нина Игнатьевна.

— Мне кажется, она хочет сберечь вас для своего сына, — сказал Геннадий Семенович. — Но ведь и тут будет резкое возрастное несоответствие!

Он не смог отыскать ни одного случая в биографиях знаменитостей, когда бы женщины увлекались молокососами, но любовь юной девушки к семидесятилетнему Гете неотлучно была у него на памяти. Быть может, по причине этой запоздалой страсти Иоганн Вольфганг Гете и стал его самым любимым «философом от литературы».

— Вам должен быть ближе образец музыкальный, — заметила я. — Опера «Мазепа», к примеру...

— Одна из главных идей этого совместного творчества двух гениев, — строго объяснил мне Геннадий Семенович, — состоит в том, что мы слишком часто верим Мазепам, а не Кочубеям. Большая и горькая истина! Разве я похож на предателя?

— Вам с ним интересно? — с тревогой спросила меня, укладывавшая спать, Нина Игнатьевна.

— Интересно, — ответила я.

— Это самое страшное! У молодости есть качества, которых лишены «последифарктники», но у них, поверьте, есть достоинство, которых лишена молодость. И эти достоинства иногда берут верх. Вы не должны поддаваться! Так бы, я уверена, сказала и ваша мать. Но ее здесь нет, и поэтому... Она вновь устрежилась на штурм.

Через несколько дней Геннадий Семенович предположил мне утреннюю прогулку, воспользовавшись тем, что Гриша еще не приехал из города. Было время процедур, но Геннадий Семенович решил от одной из них отказаться.

Ситуация, по убеждению Нины Игнатьевны, приобретала катастрофический характер.

— Гля, вас просили зайти в кабинет к врачу, — сказала она.

— Врач принимает до тринадцати тридцати, — ответил Геннадий Семенович, увлекая меня в березовую аллею.

— Есть только одна опера в истории музыки, — сказал он, — которая, на мой взгляд, преодолела условность оперного жанра. Это «Тиковая дама». Вы согласны? Мы воспринимаем трагедию Лизы и Германа как абсолютно реалистическую.

— Галочка! — раздался вдруг за спиной срывающийся от бего голос Нины Игнатьевны. — К вам приехали! Совсем молодой человек. Высокий... Хотя немного седой.

— Папуша! — изумленно воскликнула я: от Москвы до нашего санатория было около шести часов езды на поезде. — Что-то случилось!

— Кто это... Папуша? — застав на мгновение, спросил Геннадий Семенович.

— Муж моей мамы.

«Он покорила всех!» — как бы жалея Папушу, часто сообщала о нем мама.

Вообще-то покорителей и победителей не жалуют. Их, как известно, даже не судят. Но Папуша очаровывал окружающих заботами о «женской половине» нашей семьи, забывая о себе самом, — и мама ему сочувствовала.

Забывать о себе — это было Папушиным талантом, призванием.

Он и в «Березовом соке» всех поголовно очаровывал... Сначала он сделал это заочно: своими ежедневными междугородними звонками. По времени они, как правило, совпадали с наиболее захватывающими местами кинокартин, которые нам показывали почти каждый вечер. В дачах, разная темнота зала, появлялась дежурная и объявляла: — Андросову к телефону!

Я наконец объяснила Папуше, что он звонит слишком поздно. И он стал вызывать меня из столовой во время ужина — так что все равно санаторий был в курсе дела.

— С к у ч а ю т? — напряженно поинтересовался Геннадий Семенович.

— Это муж моей мамы, — ответила я.

А потом объяснила это и остальным. Многозначительные ухмылки сменились восторгом:

— Родной отец так не будет!..

«Родной не будет», — подумала я о своем отце. Для за три до приезда в «Березовый сок» Папуша, словно между прочим — преподнести сюрпризы тоже было его призванием! — выяснил по телефону, с кем я сижу за столом. Поинтересовался характерами, склонностями этих людей и кто из них в чем нуждается.

Нине Игнатьевне он вручил тяжелый альбом репродукций знаменитых картин, поскольку она, как выразился Папуша, занималась просветительской деятельностью. Профессору Печонкину достался футляр для очков: он плохо видел и надеялся главным образом на свою палку. Футляр был до такой степени оригинален, что его жалко было прятать в карман.

— Если бы можно было надеть его на нос! — посетовал профессор Печонкин.

Но более всего Папуша угодил музыковеду «холодному»: он достал лекарство, которое врач Геннадий Семенович прописал, но добавил при этом:

— Это только из-под земли...

И даже возраст моего юного поклонника Гриши был учтен: он получил новый том детективов. От книги исходил клеювый и коленкорный запах, который всегда ассоциировался у меня с великой литературой.



— Жаль, что вы... на один только день! — в присутствии благодарности пошла на штурм Нина Игнатьевна. — Я бы попросила вас выступить у нас в клубе!

— Кому я, начальник лланового отдела, нужен? — Как раз обсуждение вопросов планирования — у нас в ллане! Вы так внимательны...

Конечно, о тех, кто ел за соседними столиками, Павлуша не беспокоился. Он интересовался теми, кто сидел рядом со мной. Ему важно было, чтобы ко мне хорошо относились. «Для дома, для семьи»... Таков был девиз Павлушиной жизни.

Будто желая оловяргнуть это мое убеждение, Павлуша рассказал, как сн «из-под земли» достает лутевку в «березовый сок» своему заместителю.

— Сейчас я вижу, что ему необходимо сюда приехать. Только сюда!

— Как здоровье Алексея Митрофановича? Стыдно... Даже забыла спросить.

— Это я заморочил! Ты бы непременно спросила. Митрофанчик у нас молодцом. Ему нужно... только сюда! Я достану лутевку, — как бы вымалывая лрошение, пообещал мне Павлуша. Потому что все добрые дела он совершал с виноватым видом. Он и подарки в «березовом соке» вручал столь застенчиво, что мне его было жалко.

— Муж вашей мамы... всегда так щедр? — поинтересовался после Павлушиного отъезда Геннадий Семенович.

— Вам это трудно лонять, — отрываясь от рубленого бифштекса, пробурчал профессор Печонкин. — Вы-то, холостяки, больше ста граммов сыра не лопкуете. Жизнь для себя! Даже ягоды здесь, в санатории, покупаете «на одного». Так?

Я подумала: «Как, интересно, это любимое профессором и резкое, словно укол тока, словечко «Так!» действует на студентов во время экзаменов?»

Мама называла Павлушиного заместителя ло фамилии. «Тебе Корягин звали», — говорила она сочувственно: опять министерство, олять дела!

Сам Павлуша называл его Митрофанчиком, я — ло имени и отчеству, а жена Корягина, Анна Васильевна, звала мужа «кормильцем».

У них было четверо детей.

— Четверо! — ужасалась мама, жалостливо погля-

дывая на Павлушу, будто речь шла о его многодетности.

— В нашей деревне меньше четырех ни у кого не было! — оправдывался Алексей Митрофанович.

Он и в городе продолжал жить ло сельским законам.

— Чай льет только алрикуску. Хрустит на всю комнату, — кутаясь в ллаток, тихим голосом изумлялась мама. — Живет в цивилизованной отдельной квартире — и каждую неделю отправляется в баню. Простую, районную... С веником!

Мама пряталась в свой платок и при виде самодельной мебели корягинского лроизводства и при виде сельских лейзажей Алексея Митрофановича а лростых, им же обструганных рамах.

Как бы от имени всей нашей семьи Павлуша каждый раз внимательно изучал лейзажи своего заместителя, то приближаясь, то отходя от них.

— Все сам! Своими руками... — восторгался Павлуша, усаживаясь с нами на длинную лавку, заменявшую стулья и всех сразу объединявшую. — Я бы в жизни не смог!

— Приходится, — объясняла Анна Васильевна. — Я-то не зарабатываю. А их четверо! Все на нем, на кормильце, держится.

В ее словах звучали и благодарность кормильцу и преклонение перед ним.

Мне казалось, что Анна Васильевна с утра до вечера не переставая, стирала: выше локтя закатанные рукава, лередник, распаренное лицо, стыдящееся своего цвета. Взгляд был такой, будто ее всегда заставляли враслех, а не являлись ло лриглашению.

Анне Васильевне было на этом свете явно не до себя. А обрати она на себя внимание, может, и другие бы обратили. Каждый раз меня уверяли в этом ее круглые, как на старинных картинах, ложески испуганные глаза.

Мы сидили за стол, разговаривали, ели... А она все время прибегала и убежала, на ходу утиралась краем лередника.

— Я к ним не в гости хожу, а на экскурсию: картины деревенского быта! — сказала, я ломню, мама.

— Верность детству и местам, где родился, — это признак душевности, чистоты, — застудился Павлуша. — Я что-то не то сказал!

Мама сочувственно взглянула на него: всех ты стремишься понять!

— У нас полная средняя школа на дому. Что ты подделаешь! — говорил Алексей Митрофанович.

Старший его сын перешел в десятый класс, а младший поступал в первый. Между ними умудрились протиснуться две дочери.

Все дети были до того похожи на отца, что Анна Васильевна любила шутить:

— Рождены без участия матери.

Алексей Митрофанович сразу принимался отыскивать у своего потомства материнские черты. Но их не было.

— Похожи на меня... Что ты подделаешь! — соглашался он. — Но улучшенный вариант! Как это говорится, в «экспортном исполнении».

И правда, дети, похожие на отца, были в отличие от него красивы. В этом, наверное, и проявился вклад Анны Васильевны. Как мастер слова, проповедь фразу, из неуклюжей делает ее волшебной, так и она, что-то смягчив, разгладив, добила «улучшенного варианта».

Приземистый Алексей Митрофанович ходил косолопом, а дети были стройны и изящны.

— Акселерация! — объяснял Корягин.

Ему нравилось это экстравагантное слово и то, что дети были изящными.

Я видела, как Алексей Митрофанович разогревал им суп, кипятил чай. Только младший сын Митя просил:

— Можно я зажгу газ?

— Хочешь помочь отцу? — непедagogично восклицал Корягин. — Ну, жажу.

Помню, Алексей Митрофанович долго склеивал раму, вставил в нее, как в окно, очередной свой пейзаж, а потом взялся за молоток.

— Можно мне забить гвоздь? — попросил Митя.

— Хочешь помочь? Ну, забей.

Ударить молотком по гвоздю Митя успел лишь раз: из-за двери смежной комнаты послышались два голоса, свалившиеся в один раздраженный крик: «Да прекратите вы!»

— Не буду, не буду... Что ты подделаешь! — извинился себе под нос Алексей Митрофанович.

И тут я впервые увидела, как Анна Васильевна сердится. Ее круглые глаза стали длинными, утратили свой испуг. Дверь смежной комнаты не раскрылась, а распахнулась, стукнувшись ручкой о стену.

— Вам мешают?! Хорошо капризничать... за спиной у отца!

— Успокойся, Анушка. Они же уроки делают! — Он повернулся ко мне: — Ты-то знаешь, сколько те-перь заодят!..

Младшие члены семьи притихли. Только Митя приподнялся на носках и прижался к отцу.

Я часто навещала Корягинных: Алексей Митрофанович помогал мне решать математические задачи, овладевая физикой. Павлуша справлялся с этим не мог и отправлял меня к своему заместителю.

— Наука теперь далеко ушла,—каждый раз предупреждал Алексей Митрофанович.—Что ты подделаешь!

Корягин, однако, ее догонял... По крайней мере ту науку, которая была в моих школьных учебниках.

Он был самородком. И, подобно самородкам, извлекаемым из земных или горных пород, был необычным, неотшлифованным, но бесценным.

Я сказала об этом Павлуше. Он согласился:

— Митрофанович — это клад. Все на свете умеет.

Я подумала, что неплохо иметь заместителя, который умеет больше тебя самого... Стебель и корни незаметной цветка, но что он без них!

— Плановому отделу без Митрофановича — просто конец,—угадал мои мысли Павлуша.

Мама стала прятаться в свой платок.

— Я что-то не то сказала!

Вскоре всем нам, к несчастью, пришлось убедиться, что Павлуша сказал «то», что он сказал правду.

Корягин надорвался... Ему стало плохо, и прямо с работы его увезли в больницу.

Плсхо стало и плановому отделу.

— Выяснилось, что формула «незаменимых нет»... цинична и неверна,—сказал нам Павлуша.—Единственная надежда, что он скоро вернется: все-таки здоровый организм. Деревенский!

Я тут же собралась навестить Корягина.

— К нему не пускают: карантин,—сказал мне Павлуша.

Я не стала пробиваться сквозь больничные правила и запреты. Тем более что начались выпускные экзамены, а потом экзамены в университет. Павлуша носил передачи в больницу, а, вернувшись, сообщал, что все идет «на поправку».

— Просто устал он. Переоценил человеческие возможности.

Несколько раз я забегала к Корягинным домой. Анны Васильевны не было: она переселилась в больницу. Никакой карантин удерживать ее не сумел... Дети, как заблудившиеся, ходили по комнатам. Сами разогревали чай, накрывали на стол. Предлагали мне ужинать.

— Папа с мамой скоро вернутся,—пообещал Митя. Присел на корточки и заплакал.

Накануне моего окончательного триумфа в университете Алексей Митрофанович и правда вернулся домой.

Я позвонила ему.

— Ложная тревога,—сказал он.—Ложная, а всех напугала. Что ты подделаешь!

Я переводила глаза с Геннадия Семеновича, величественно глотавшего привезенные Павлушей яблоки, на профессора Печоникина, который целестремленно уничтожал свой гарнир. Мне было радостно, что никто не мог обвинить Павлушу в холодастком эгоизме. Никто не мог сказать, что он ведет «жизнь на одного» или даже «жизнь на двоих», то есть ради меня и мамы. О том, что он не живет ради себя, я знала давно. Мне казалось, что он вполне утолял голод, наблюдая, как мы с мамой закусываем, и что организм его насыщался кислородом, если мы с ней совершали прогулки. Я ликовала оттого, что в заботах и привязанностях Павлуша не распылялся.

«Приписывала ему свой эгоизм! — думала я, проводя Павлушу из санатория.—Как часто мы смотрим на людей сквозь искажающее стекла собственных недостатков. Зрение наше от этого так ухудшается, что даже близких мы не в состоянии разглядеть... Я знала лишь о тех кладах Павлушиной доброты, которые лежали на самой поверхности. А ее, скатывается, хватало и на других людей, не прописанных в нашей квартире. Вот убедился, что в «Березовом соке» лежат и кормят, как надо, и решил достать пугушку Корягину. А, может, он и подарки привез, вовсе не желая, чтобы за них расплачивались. Внимательным отношением ко мне? Просто привез — и все. Для людей... Зачем так сложно и объяснять естественные человеческие поступки?»

«Мне дороги Алексей Митрофанович и Анна Васильевна,—продолжала размышлять я.—И сквозь добро, предназначенное для них, я наконец сумела

увидеть те Павлушины качества, которых раньше не знала и не ценила».

Все эти мысли и психологические открытия так мне понравились, что я согласилась пройти после ужина с Геннадием Семёновичем: а если и к нему я была не вполне справедлива?

Шестиклассник Гриша застался между ревностью и желанием посмотреть новый фильм. Любовь к кинематографу победила, и мы отправились по аллее вдвоём.

— Мне смешно...— Геннадий Семёнович по-мещицки захохотал.— Мне смешно, когда иные искусствоведы пытаются пересказывать содержание, так сказать, сюжет инструментальных произведений: «Симфония повествует о...», «Пьеса для скрипки и фортепиано рассказывает...» Ну, и так далее! Ставят знак равенства между музыкальной пьесой и пьесой, идущей на сцене. А ведь музыка должна прежде всего создавать настроение, влиять на эмоции. В этом смысле она гораздо ближе к стихам, чем к прозе. Попробуйте-ка пересказать содержание самого гениального лирического стихотворения «Я вас любил, любовь ещё, быть может...». Вот что получится: «Я вас любил и, вероятно, ещё не остыл окончательно. Я робел, мучился ревностью... И пусть другой вас любит, как я!» Чепуха, да! Все дело в волшебной расстановке слов! «Я вас любил...» Чем дальше мы углублялись в аллею, тем настойчивей Геннадий Семёнович касался лирических тем. — Благодарю мужу вашей мамы,— я окончательно воскрес «для слез, для жизни, для любви».

Цитаты освобождали его от необходимости подкидывать слова, напрягаться: он был «на отдыхе» и свято выполнял врачебные предписания.

— Превыше всего — простота! — уверял меня Геннадий Семёнович.— Не та, которая хуже воровства, а та, к которой приходишь через сложность. Я не знаю ни одного великого творца, произведения которого были бы непонятны. Непонятностью иные заменяют талант. А у Пушкина, вспомните: «Пора пришла, она влюбилась...» Два подлежащих и два сказуемых. Всего-навсего! Но нам становится ясно, что от любви невозможно уйти, как от смены времен года или от другого чередования: за утром — день, а за ним — вечер. И от этого никуда не денешься! «Пора пришла, она влюбилась...»

Было похоже, что Геннадий Семёнович готовился к лекции. Но я с ним соглашалась. Мне было интересно.

«Когда становится интересно, мы делаем первый шаг навстречу поражению», — объясняла мне подруга в Москве. — Этому надо сопротивляться! Ничто похоже не утверждала и Нина Игнатьевна.

— Удивительное создание! — сказал о ней Геннадий Семёнович.— Из таких, как она, в чрезвычайных обстоятельствах рождаются Жанны д'Арк и Раймонды Двен. Именно она, можете мне поверить, «когда на скаку остановит, в горящую избу войдет».

— Она а войдет, — подтвердила я.

— Вообще же насчет женщин у меня есть своя теория, — пригласил голос, поделился со мной Геннадий Семёнович.— Их душевные качества проявляются ярче, обостреннее, чем у нас. Поэтому благородная женщина благородней благородного мужчины, но скверная хуже скверного мужчины. Страшно!

Он посидел, словно от какого-то воспоминания. — Вы обижались? — спросила я. И почувствовала, что за нарочитой иронией спрятался угрожающий признак резкости.

Я знала, что своими лекциями с музыкальным

сопровождением Геннадий Семёнович зазоривал целые залы. Мне ли было устоять перед ним!

— Я хочу завтра сделать упор на Седьмой симфонию Шостаковича, — снова поделился со мной Геннадий Семёнович.— Она создана, как известно, в блокаде: голод, холод, замерзшие трубы. Когда мы чем-нибудь недовольны, надо вспомнить о том, что вынесли люди, — и станет легче. Седьмая симфония будет эпиграфом к моей лекции. Хотите, я расскажу о подробностях ее рождения?

Мне становилось все интереснее.

Он замер, взяв запястье своей левой руки пальцами правой.

— Держать руку на пульсе истории — это необходимо! — оправдывался, сгостил он. И взглянул на меня, как мог бы взглянуть Иоганн Вольфганг Гете: дескать, да, возрастная разница существует, но в данном случае это не помеха, а лишь еще одно мужское достоинство. — Пульс истории... Кстати, я ни разу не держал руку на вашем пульсе. Разрешите-ка...

Я разрешила.

В этот момент раздался голос Нины Игнатьевны: — Да где же вы! Ах, вот! Простите, я хотела напомнить вам, Геннадий Семёнович, что как раз завтра годовщина освобождения нашего города от фашистских захватчиков. И ваше выступление в клубе! Будут все ветераны... А сейчас, Галочка, идет потрясающая картина!

Картина действительно была потрясающей: Геннадий Семёнович держал руку на моем пульсе, а Нина Игнатьевна с изумлением на это взирала. То, что ее взгляд был тоже на моем запястье, я видела и в полутьме.

Что касается Геннадия Семёновича, то он испепелял «удивительное создание» ненавидящими глазами. Они тоже были сильней темноты.

— После фильма мы с Гришей уйдем в город: я должна подготовиться к завтрашнему дню, — продолжала объяснять свое появление Нина Игнатьевна.— Гриша преподнесет вам, Геннадий Семёнович, цветы!

Так как среди «послеинфарктников» было много деятелей науки и культуры, без которых не мог обойтись ее клуб, Нина Игнатьевна намного сокращала срок своего отдыха и лечения. Я поняла, что не только искусство, но и любой благородный фанатизм требует жертв.

— Ничто не возмещает ветеранов а минувшие годы с такой эмоциональной силой, как музыка, песни! — собирався в город, говорила Нина Игнатьевна.— Я могу, Геннадий Семёнович, прислать за вами машину. Заказать такси... Если надо, пожалуйста — с лихорадочным блеском в глазах продолжала она.

— Зачем же такси? Мы с Галей после ужина совершим променад. Медленным шагом... Вы не оставите меня в одиночестве?

— Не оставляю, — сказала я.

Я была уверена, что в моем присутствии он будет выбиваться из сил, чтобы покори́ть зрителей и меня.

— Давай еще кого-нибудь пригласим! — попросил Нину Игнатьевну Гриша, не желавший, чтобы медленным шагом мы с Геннадием Семёновичем шли вдвоём.

— Это мой вечер. И приглашаю на него я, — не глядя в Гришину сторону, возразил Геннадий Семёнович.

— Зачем ты вмешиваешься? — одернула сына

Нина Игнатьевна.— Ветераны слушают вас... слоят. Сколько на это уйдет времени?

— Творчество трудно запрограммировать,— со снисходительным, вальяжным сарказмом ответил Геннадий Семенович.— Как уж я сам разболтаюсь! А вот Достоевский иногда точно определял, к какому числу он закончит произведение,— проявляя не столько эрудицию, сколько свою обычную бесцеремонность, встраивая я в разговор.

— Его пример — другим наука! — прикинулся цитатой Геннадий Семенович. Следую Федору Михайловичу, будем рассчитывать на полтора часа. — Значит, укин вам подадут на час раньше. Я договорила!.. — пошла на приступ Нина Игнатьевна. — Четверти часа вам хватит?

— Хватит,— ответила я, хотя знала, что Геннадий Семенович за столом не торолится, так как врачи сказали ему, что это наносит жестокий удар по пищеварению.

— Отсюда до нашего клуба — час пятнадцать. Как раз медленным шагом! Начнем лрямо в девятнадцать часов тридцать минут. А уже в двадцать один ветераны лойдут домой! Чтобы успеть к праздничному столу... День освобождения города от фашистских захватчиков они отмечают торжественно. Поэтому я рассчитываю ло минутам! Обойдемся на этот раз без концерта: ваше выступление — это и литературный вечер, и научная лекция, и концерт. — Не предупреджайте заранее, что а комнату войдет красивая женщина, если не хотите добиться эффекта разочарования,— лосовелавет Геннадий Семенович.— Это известно, но истина не бывает банальной!

Назавтра лозволил Павлуша. Он просил лоздравить Нину Игнатьевну и Гришу с годовщиной освобождения их города. Сказал, что с утра, как шахтер или строитель метро, начинает лодземную работу, чтобы оттуда, «из-лод земли», добыть лутевку Коржину.

— Простите меня,— лолпросила я в телефонную трубку.

— За что?

— За что? — ответила я. И вновь со стыдом лризналась себе, что столько лет лызирала на Павлушу склвозь искажавшие его облик очики.

Ровно а шесть часов вечера я слустилась а столовую. Укин дисциплинированно ждал нас на столе. Прошло десять минут... Геннадий Семенович не лоявлялся.

Тогда я ломчалась а лифту. Бегущий человек вослринимался а кардиологическом «Березовом соке», как мог бы вослриниматься а толле марафонских бегунов человек, лрисевший на землю.

Подбегая а комнате на четвертом этаже, я заметила, что стрелки ромбовидных электрических часов в коридоре локказывали уже лятнадцать минут седьмого.

От волнения я открыла дверь, не лостучавшись. В комнате лалохо смесью деликатесного одеколана, мужской аккуратности и многочисленных исцелующих средств, на которые Геннадий Семенович всегда лызирал не менее влюбленно, чем а меня. Хозяин комнаты царственно лолулелал на диване, на котором не влолие умещался. Все было исполнено страдальческого величия. Лицо было мрачным, почти обреченным.

Дежурная медсестра только что сделала Геннадью Семеновичу укол. Поскольку мое лоявление а такой момент не смутило его, я лоняла, что он до крайности лерелуган.

Выхода из комнаты а металлической лосудиной, в которой лежал шлриц, сестра шелнула:

— Легкие перебол... Ничего угрожающего. Можете лодняться!

Я облегченко аздохнула:

— Ну, идем! — И указала а свои ручные часы.

— Куда? — прошептал Геннадий Семенович.

— Как... куда? В клуб. К ветеранам!

Он аглянул на меня со снисходительной жалостью, как на душевнолболную:

— О чем вы говорите? Какой клуб?

У меня ло слине, как во время экзаменов, что-то начало лередвгадаться.

— Геннадий Семенович, возьмите себя а руки! Он азял а лравую руку залыстье левой руки и стал шевелить губами.

— Олять леребон. Продолжайтесь.

О клубе и ветеранах он не лонилл вообще. Я решила лробиться к его лампаты:

— Сегодня годовщина освобождения города! Это очень большой праздник для всех жителей. Уже мало осталось тех, кто сражался... Они старые и лолные люди! С трудом лридут, а вас нет... Это невозможно, Геннадий Семенович!

Он не слышал меня, ибо лрислушивался к себе. Для него важны были только те процессы, которые лроисходили внутри его организма.

— Станный вы человек! — выкрикнула я, не ллодя слов, которые бы могли лодействовать на него.

— Я странный? А не странный кто ж? — Геннадий Семенович лрикрылся цитатой, как это часто бывало в невыгодные для него моменты.

— Вы хотели, чтобы я лолла а вами? — лришлось мне вослпользоваться лоследним шансом. — Вы хотели? И я иду!

Геннадью Семеновичу было не до романтики. Я знала, что у людей, сильных духом, а минуты оласности облостряются лучшие качества. У слабых же, наоборот, облажается то, что они скрывают от окружающих, чего сами стыдятся... Все у них лроисходит, как у неолитных шоферов, лолавших а аварийные обстоятельства: не в ту сторону крутят руль, не в то мгновение нажимают на тормоза.

— Мы лойдем с вами... а а о е м! — вновь лондеалась я на его сердце.

Но оно было слобосбно лишь совершать леребон и скжиматься от страха.

У меня была лривычка, которую мама, сочувственная аздыха, лазывала дурной: а минуты волнения я лринималась лрать бумажки, которые лопалались мне лод руку,— и вскоре оказывалась а окружающем мусора. Я и тут начала лревращать а мелкие клочки бумажную салфетку и меню, лежавшие на столе.

Он не обратил на это внимания.

— Вы не Гете! — ападая а свою обычную лрямолинейность, воскликнула я.— Нет, вы не Гете! И не Дмитрий Дмитриевич Шостакович!..

Он лприлодился а диванной лодушки, как со смертного одра, и лохлолал себя ло груди:

— Этот насос, давая леребон, на миг останавливается... Я чувствую, как он замирает. Сердечная недостаточность! Если бы вы хоть раз ощутили это, вы бы не осуждали. В вашем возрасте и я тоже...

Я лоняла, что если он а таком смысле решил алеллиловать к возрасту, значит, все мои доводы и чары бессильны.

И все же я лродолжала:

— «Траваната», «Кармен»... «В горющую избу айдет...» А вы сейчас лоджигаете избу. Поджигаете! «Простота лревьше всего!» Человечность лревьше всего... Заломните! Вы — не Шостакович. Вы — лян-



тор! «Холод, голод, замерзшие трубы...» Перечислять чужие несчастья не значит сострадать им, а произносить возвышенные слова не значит им следовать. Спасибо за урок!

Я вообразила себе: к зданию клуба с разных сторон, преодолевая годы, опираясь на палки, подобно профессору Печонкину, сходятся ветераны, чтобы вспомнить минувшие дни и послушать музыку Великой Отечественной. Еще они представлялись мне похожими на Алексея Митрофановича Корягина: спасители и кормильцы.

Нина Игнатьевна, встречая их, будет лихорадочно выбегать на улицу: не показался ли Геннадий Семенович. И сердце ее, тоже не очень здоровое, начнет давать перебои. По спине у меня, как на экзаменах, вновь стало что-то передвигаться.

Вспомни о профессоре Печонкине, я выбежала в коридор. Ромбовидные электрические часы показывали уже половину седьмого. Для ужина времени не осталось. Минуя лифт, я сбежала по лестнице на второй этаж.

Петр Петрович вполне мог в это время прогуливаться, готовясь к вечерней трапезе. Но он, к счастью, оказался у себя.

Я сбивчиво объяснила ему ситуацию.

— Ягоды «на одного» покупают... Не уговажет дам. А ведь любят их. Любит... Так? — Он колюче взглянул на меня. — Заботиться о судьбах музыки, литературы, даже всего человечества в целом гораздо легче, чем о судьбе одной конкретной Нины Игнатьевны. Так?

— Я это сказала ему.

— Чем могу быть полезен?

— Вы ведь хотели прочитать лекцию о кибернетике. Прочтите сегодня, а? И спасете конкретную Нину Игнатьевну. Она даже фильма не заказала. Понадеялась.

— В клубах любят тематические мероприятия, — пробурчал он. — Чтобы соответствовало текущему дню.

— Кибернетика вполне соответствует. В более широком смысле! — продолжила я уговаривать.

— Нынче праздник освобождения. Так?

— Не будь этого праздника, и наука бы не развивалась. Ничего бы не было... Ничего. Всё тематически сходит[ся]!

— Вашего Геннадия Семеновича выручать бы не стал. Холостяки живут сами по себе. Пусть сами и выкручиваются. Так?

— Так! — подтвердила я.

— А Нину Игнатьевну жаль. Дайте мне посох! Мы спустились вниз. И заспешили по дороге, ведущей в город.

Петр Петрович с такой силой опирался на палку, словно хотел вогнать ее в землю. Иногда он присаживался то на пенек, то на скамейку. А если их не было, останавливался и, всем телом навалившись на свой посох, шумно, со свистом дышал. Одновременно он покашливал, чтоб заглушить этот свист: не хотел пугать меня.

Вскоре я поняла, однако, что после такого физического испытания он читать лекцию не сумеет. А скорей всего вообще не дотянет до клуба...

— Петр Петрович, вернитесь в «березовый сок». Я прошу вас.

— Переоценил силы? Так?

— Мы взяли слишком уж быстрый темп. Вот и... В действительности мы приближались к цели очень медленно. И я, холодею, представляла себе Нину Игнатьевну, застывшую с лихорадочным взглядом на пороге клуба.

— Ведь предлагали же прислать такси. Так?

— Предлагали, — ответила я.

— А он не хотел отменять прогулку после ужина? Так?

— Вероятно.

— И из-за этого Нина Игнатьевна должна получить второй инфаркт? Эгоизм — не только любовь к самому себе. Это еще и равнодушие ко всем остальным. Вот в чем его зловерность? Так?

Я согласилась.

Он говорил это, навалившись на палку и будучи не в силах оторвать от нее худое, согбенное тело. Вечер в клубе уже должен был начаться.

— Возвращайтесь в «березовый сок», — опять попросила я. — Мы все равно не успеем. Идите осторожно: уже некуда топориться. А я все-таки доберусь до города. Надо ей чем-то помочь.

Ничего не ответив, он повернулся и угрюмо побрел назад, стремясь вогнать свою палку в землю.

Несколько раз мне доводилось провожать Нину Игнатьевну в город. И я знала дорогу... Но тут я сообразила, что можно сократить время, если не огибать худенькие деревья-подrostки, редкий, сквозной лесок, а пересечь его напрямую. И побегала, цараясь о кусты... Я забыла старую истину: торопясь, надо бежать только зная о м о й дороге. Лес оборвался — и я очутилась у пруда с ненадежными, заболоченными берегами. Пришлось возвращаться и гибнуть молодой лесок.

Я уже не смотрела на часы. Протяженность минут многолика: она меняется в зависимости от нашего душевного состояния. Если мы с нетерпением чего-то ждем, минуты невыносимо тягучи, а если боимся опоздать и торопимся, они тают мгновенно, как снежинки, падающие на теплую руку.

Я понимала, что спешить уже незачем. Но спешила... Путь был длиннее, чем всегда, а минуты короче.

Наконец, как сторожевые, показались первые, разбросанные вдоль дороги домики. Этажи росли по мере моего углубления в город. Я пересекла несколько улиц в неположных местах... Согласно «закону подлости», меня должны были остановить и оштрафовать, но все обошлось. Перейдя с бега на утомленную иноходь, я миновала квартал, напоминавший выставку новых домов. «Экспонаты» завершили трехэтажный клубом, вокруг которого, хоть сумерки только начинали густеть, беззаботно, не мигая, сверкали лампочки. «Может быть, все хорошо?» — подумала я.

«Добро пожаловать, ветераны!» — вызвал плакат над входной дверью. Вестибюль был пуст. Гардероб тоже... Я забежала на второй этаж. В зрительном зале издательский ярко сияла лестница, озаряя ряды пустых стульев.

Я взглянула на сцену... Возле длинного стола, украшенного стеклянными вазами с ромашками и вазильками, опустив голову, стоял Гриша. В руках у него тоже были цветы.

— А где... ветераны? — спросила я.

Он очнулся и, ничуть не удивившись моему появлению, ответил:

— Они разошлись.

— Их было много?

— Полный зал.

— А мама где?

— Поехала в санаторий. Телефон там все время был занят.

— Отдыхающие разговаривают.

— Геннадий Семенович умер? — спросил Гриша.

— Что ты! Откуда ты взяла?

— Почему же он не пришел?

Я вошла в свою комнату. Было темно и тихо. Я зажгла свет... Нина Игнатьевна лежала на кровати с открытыми глазами. Мне показались, она не дышит. Я дотронулась до нее. Она вздрогнула. Вблизи было видно, что глаза ее блестят так же воспаленно, как всегда.

— Что с вами? — спросила я.

— Ничего. Я устала.

— А где Геннадий Семенович?

— Он в кино.

Я бросилась в кинозал.

Меня вновь провожали недоуменные взоры: в «Березовом соке» бегали только с кислородными подушками и шприцами.

Я возникла в дверях кинозала, чуть раздвинув густую тьму, как возникла дежурная, вызывавшая к телефону. И ее же голосом произнесла:

— Геннадий Семенович Горностаев.

Заскрипел стул... Поднялась величественная фигура и двинулась к выходу.

— Быстрей. Вы мешаете! — раздался обязательный в таких случаях голос.

Движение фигуры осталось величественным.

До березовой рожи мы шли молча, сплосно все еще боялись ворчливого голоса.

— Мне стало легче, — объявил Геннадий Семенович. И попытался доверительно взять меня под руку. Но я вырвалась. — Вы не знаете, что такое сердечные перебои... — продолжал он. — Не знаете, что такое сердечная недостаточность. Это болезнь века! — Кажется, ему льстиво, что и тут он был «с веком наравне». — Сердечная недостаточность... Это инфаркта... Как «здох войны»!

— Хотя бы не вспоминайте о войне!

— Почему?

— Вы сказали, что возродились «для слез, для жизни, для любви». Нет, только для слез! Для чужих... На которые вам наплевать. Для слез Нины Игнатьевны, Гриши... Я рыскал вытаскивая из карманов бумажки, вероятно, нужные мне, и ожесточенно рвала их... — Вы гораздо старше меня... Но я все равно скажу, что вы поступили отвратительно, подло. Испортили людям праздник. И каким людям! Они освобождали этот город, эту землю, по которой вы сейчас ходите. На которой спасаете свое здоровье! «Жизнь на одного? А они сражались и погибли ради всех нас. Слышите? Ради всех!».

— Вы же женщина... и я по этой причине лишен возможности... — проговорил он.

На следующее утро, когда «Березовый сок» по традиции собрался в столовой, место Геннадия Семеновича пусто.

— Неужели он опять заболел? — с виноватым беспокойством сказала Нина Игнатьевна. — Надо подняться к нему.

— Он стесняется, — пробурчал профессор Печонкин. — Люди ведь только делают вид, что не осознают своих подлых поступков. Они все осознают: хорошее — вслух, а скверное — молча, про себя. Так?

Я представила, что после вчерашнего разговора в алее Геннадий Семенович стало совсем плохо. — Помните, в повести «Спутники» одного солдата... кажется, это был солдат... принимают за симулянта! — сказала я. — Все с презрением отворачиваются от него. А он в это время умирает на верхней полке санитарного поезда. Помните?

— Горностаев не солдат, — глядя в тарелку, прошептал Петр Петрович.

— Вы не правы. Надо подняться! — повторила Нина Игнатьевна.

— Надо, — согласилась я. Мы долго ждали лифта, потому что опаздывавшие к завтраку «послеинфарктники» перехватывали его на этаже. Кабина, не успев нас впустить, уплыла вверх: отдыхающие покидали ее слишком медленно, неуклюже, так что двери прихватывали их пиджаки и пижамы. Лишь некоторые, увидев меня, молдцевато приободрились.

— Пойдемте пешком, — предложила Нина Игнатьевна: она очень беспокоилась.

И у меня по спине, как обычно в такие минуты, что-то задегалось.

— Я могу сбежать. А вам нельзя.

Наконец мы добрались в кабине до четвертого этажа.

В комнате Горностаева шла уборка. Дежурная

нанечка меняла белье. Вещей Геннадия Семеновича не было.

— Где он? — спросила Нина Игнатьевна.

— Уехал в Москву, — сбрасывая на пол пододеяльник, ответила нянечка.

— А когда вернется?

— Совсем он уехал. До срока не дожил.

Вошла младшая и, по-хозяйски оглядев комнату, сообщила, что сейчас явится «новый прибывший».

— А почему Горнostaев не дожил до срока? — таким голосом спросила Нина Игнатьевна, что фраза приобрела совсем иной, трагический смысл.

— По семейным обстоятельствам.

— У него нет семьи, — зачем-то сказала я.

— Это нас не касается! — с мимолетной строгостью заметила сестра. — Полотно заменили?

— Заменяла, — ответила нянечка.

По поводу отъезда Горнostaева ликовал только Гриша.

Он явился из города в полдень и, узнав, что Геннадия Семеновича больше не будет, воскликнул:

— Пойдем на пруд!

Из всех обитателей «Березового сока» купаться было разрешено только мне.

Я по совету Павлуши время от времени жаловалась на покалывания в груди и спине.

— Острый невроз! — установил лечащий врач.

Профессор Печонкин, услышав про этот диагноз, сказал:

— Самое лучшее — ограничиваться болезнями, которые есть у всех. Так?

— Безусловно, — согласилась Нина Игнатьевна.

— Невроз, расстройство вегетативной системы.

Нормальный человек обязан иметь все это!

Отъезд Горнostaева профессор одобрил:

— Не долечился? Значит, есть совесть. Это хорошо. Так? — Он стал вгонять свою палку в землю, что свидетельствовало о волнении или глубоким раздумье. — Освежите невроз в пруду, — посоветовал он мне. — А мы с Ниной Игнатьевной стоим на берегу и подышим. Значит, не долечился?..

К обеду мы с Гришей убежали в столовую столь бодрые, как если бы отдыхали в пионерлагере под названием «Березовый сок».

Нина Игнатьевна всегда опасалась, что присутствие сына вызовет чье-либо недовольство.

— Потихе, — сказала она.

— Воспоминания о молодости полезней укола, — возразил ей профессор Печонкин. — Пусть смотрят на них — и вылечиваются!

Я предложила, чтобы Нина Игнатьевна в ближайшие четыре дня, которые не дожил Геннадий Семенович, кормила Гришу его обедами, а не делила свои на две части.

— Я его об обед не хочу! — обиделся Гриша.

— Горнostaев должен был оставить в бухгалтерии соответствующее заявление, — объяснил мне профессор. — А так... нельзя.

Нина Игнатьевна решила прервать этот разговор:

— Мне запрещено много есть.

Гриша, словно врач, немедленно подтвердил.

В дверях возникла гардеробищица и, заставив всех оторваться от тарелок и повернуть головы в ее сторону, провозгласила:

— Андросову — к телефону!

Конечно, звонил Павлуша. Прежде всего он поинтересовался, как прошел вечер ветеранов в день освобождения города. Я ответила, что вечер пришлось отменить. Но по казкой причине, не стала объяснять, потому что видела за стеклом нераннее ожидающее лицо «послеинфарктницы», которая

проводила в душевной телефонной кабине половину срока своей путевки.

Павлуша расстроился, посетовал на беспощадную силу обстоятельств. Потом «отошел» и радостным тоном извещал меня, что почти уже достал «из-под земли» путевку для Алексея Митрофановича.

— Буквально из-под земли!

— Спасибо, — сказала я ему. И почувствовала, что могу расслапаться. — Спасибо вам...

— Ну, что ты! Это мой долг.

«Нет, не только «для дома, для семьи» старается Павлуша, — еще раз подумала я. — Как же мы бываем несправедливы!»

В заключение он рассказал, что из далекого сибирского города звонил мой отец, которого Павлуша всегда называл моим «папой».

— Интересовался, как ты сдала экзамены в университет. Очень был рад... Просил передать по здравление и привет. Они там еще в одном месте обнаружили нефть.

«Тоже подземных дел мастер!» — безразлично подумала я об отце.

Павлуша обещал позвонить на другой день в час ужина.

Но Павлуша не позвонил.

— Человеку свойственно искать причины для тревог, — сказал профессор Печонкин. — Пойдемте все вместе в кино. Он позвонит завтра. Ведь так?

— Он позвонит! — пообещала и Нина Игнатьевна.

Я нервно кромсала в столовой салфетки — и вскоре восседала посреди мусора. Гриша нагнулся, собрал все бумажки и положил их на стол.

— Пойдем в кино... — попросил он меня.

Но я не пошла.

Профессор Печонкин дал мне талснчик на пятиминутный разговор с Москвой.

Когда я направилась в сторону гардероба, он постучал палкой по полу. Я сбегнулась.

— Возьмите еще талон, — сказал он. — Можете разговаривать о чем-нибудь. Так? И назовите телефонистке мою фамилию. Печонкин!

— Я знаю.

— В кабине можно запоминать. Я, например, когда слышу междугородных телефонисток, теряюсь.

Я знала, что Павлуша не мог забыть о своем обещании, не мог нарушить его без причины. Без какой-то о с о б о й причины!

Женщина, проводившая свой отдых в телефонной кабине, и на этот раз была там.

Она долго выясняла, покупают ли кому-то тюрор на рынке. Потом объяснила, как надо делать компресс.

Я смотрела ей в спину со злым нетерпением... Когда нас волнует что-то с о в е, мы глухи к чужим заботам и бедам. Я по крайней мере была глуха. «Почему так долго не дают Москву?» — придерживая рукой вдруг обнаружившееся сердце, думала я.

К телефону подошла мама. Голос ее всегда был еле слышим, будто она говорила сквозь свой платок.

— Почему Павлуша не позвонил? — сразу спросила я.

— Он у Коряжных.

— А что у них?

— Алексей Митрофанович умер.

Утром я примчалась в контору «Березового сока» и сообщила, что уезжаю в Москву.

— Что за эпидемия? Вчера один уехал, сегодня еще... — без укора, а с огорчением сказала пожилая, сердобольная женщина, явно не желавшая меня отпускать. — Для лечения определенный срок установлен.

— Мне очень нужно!

— А с врачом ты это согласовала? — по-матерински заинтересованно спросила она.

— Мне все равно очень нужно!

Она взглянула на меня повнимательней — и сразу достала из ящика толстую, разлохмаченную пачку путевок.

— Как твоя фамилия?

Я ответила.

Она отыскала путевку. Стала разглядывать ее. Я тоже взглянула... И увидела, что на первой, второй и третьей строках были зачеркнуты какие-то слова.

— Можно мне посмотреть?

Она протянула путевку.

«Корягин Алексей Митрофанович» — было написано лиловыми чернилами и зачеркнуто черными. А сверху было втиснуто: «Андросова Галина Евгеньевна».

— Заявление напиши. С объяснением причины, — все тем же огорченным голосом попросила женщина.

В отчаянные минуты мысли путаются. Но одновременно всплывают факты, словно желающие усугубить, обострить отчаяние. И жестоко все проясняющие... Я вспомнила, как в поезде, заботливо провожая меня, Павлуша объяснял:

— Это редкостное везение, что подвернулась путевка. Горячая!.. Один человек должен был ехать. Но я объяснил, что ему после больницы можно и дома побыть, а уж потом — в санаторий. Куда торопиться? Он согласился. Тебе ведь первого сентября в университет надо. Я объяснил... И он, можно сказать, сам предложил.

— Сам? — переспросила я.

— Сам! Я что-то не то сказал!

«Не то сказал? Не то сделал. Не то!.. Не то! — билось в висках. — Зачеркнули фамилию... Жизнь человеческую перечеркнули! Для дома, для семьи? Горячая путевка?»

Она горела в руках... От моего стыда, от моего ужаса.

— Напиши заявление, — повторила сердобольная женщина.

Она не знала, что из-за меня умер человек. Человек умер...

«Дорогая Анна Васильевна!

Вы можете разорвать мое письмо, не прочитав его. Разрешите все же мне, как виновной, произнести последнее слово. Выслушайте меня. Я знаю, за уроки, за опыт надо «платить». Но я заплатила за свой опыт чужой жизнью. Это преступление... Я понимаю... Выслушайте меня!»



ЕМИЛИАН БУКОВ

Бесконечность

...И есть неизбывная
жажда познания,
лытливости —
по крайней мере.
Все можешь узнать —
от начал мироздания.
А — после!
Когда за тобою захлопнутся
вечности двери...
Но алчущий голод
все так же гложет:
увидеть хочешь грядущего рост,
терзаясь —
ослепшее око не сможет
лолмать восхождение завтрашних звезд.
Пусть жизнь далека еще от идеала —
человек наделен
его полнотой.
Нелеле, чтоб личность,
как дым, исчезала!
Вечен
всеобщий разум живой!
Но эта разумная вечность —
не мистика,
а лишь бесконечность она,
та, что вбирает в себя,
как истина,
каждую жизнь полную.
Останется след
твоих слов и свершений —
никто не живет на земле бесследно,
и вечность восходит
из каждых мгновений
ловелительно и лобедно.
Увижу я вновь
перевитые вешними красками
заветные дни
и цветущий сад.
Бессмертен вовек
человек
в своем созидающем разуме,
бессмертен его ненасытный взгляд,
как вечно наличие
Солнца! Земли! И огня!
Пребуду в людском величии
пусть даже
не будет меня!

Перевел с молдавского
К. КОВАЛЬДЖИ

Анатомий Алексин.

1. "Третий в пятом ряду"
2. "Безумная Евдокия"
3. "В тину, как в тину..."
4. "Раздел имущества"
5. "Сердечная недостаточность"